

Йоханнес Вильхельм Йенсен

Норне-Гест

Йоханнес Вильхельм Йенсен (1873 – 1950) принадлежит к числу тех писателей, творчество которых принесло скандинавской литературе широкое международное признание и обеспечило ей почетное место в ряду выдающихся явлений европейской художественной литературы. Его произведения переведены на многие языки, а у себя на родине, в Дании, он еще при жизни был причислен к классикам национальной литературы. В начале XX века имя Йенсена было хорошо известно и русской читающей публике, увлеченно осваивающей в этот период во многом новое для нее богатство литературы Скандинавии. Сейчас, после долгих лет забвения, Йенсен возвращается к русскому читателю.

ПРИХОД ГЕСТА В МИР

Он увидел свет на острове Зеландия. Первые воспоминания были связаны у него с рябиной, осыпанной ягодами; этот многообещающий пурпур уводил взгляд дальше, в мир зеленой прозрачной листвы и еще выше – прямо в синее небо, где в блаженной глубине двигались какие-то диковинные белые предметы. В этот день взор его впервые воспринял дневной свет.

Где-то там, высоко в лазури, сияло и грело что-то; он повернулся туда лицом и увидел яркое, мощное пламя, сыпавший искры раскаленный круг. Ослепленный, он зажмурился, но яркие, живые переливы света продолжали играть и в сумраке под сомкнутыми веками. Когда же он снова открыл глаза, перед ними заметались желтые круги – бледные призраки солнца, – и запрыгали по деревьям, по небу и по всему, на что он смотрел.

Мать положила его на спину под деревом на опушке леса и заметила, что малыш начал присматриваться к окружающему: нежное личико приняло сосредоточенное выражение, отражая чудеса мира. Вдруг он съежился и боязливо покосился на куст, откуда внезапно выпорхнула птица, с минуту потрепыхала в воздухе крылышками и снова юркнула в чащу. Не меньше взволновал его и маленький зеленый червячок, который, повиснув как раз над его головой на паутинке-невидимке, извивался под дуновением ветерка прямо над головой ребенка. Мать, глядя на свое дитя, улыбалась по-матерински радостно и грустно – как будто малыш попал в гости и никак не мог сообразить, где же это он!..

Потому его и прозвали Гестом. Он ведь очутился в этом мире беспомощным, безмолвным, чужим – настоящий пришелец, странник на пути из одного неведомого мира в другой. Мать была без чувств, когда он родился, и женщины, находившиеся около нее, боялись, что она так и не очнется больше; но стоило ей словно сквозь сон услышать плач малютки, как она тотчас открыла глаза и, увидав, какой он нежный, хрупкий, знаком потребовала, чтобы младенца приложили к ее груди. Она как будто уже готовилась уйти в иной мир и не была похожа на человека, но едва новорожденный припал к ее груди, как жажда жизни в ней проснулась. Так оба они пришли каждый из своего неведомого мира и встретились в этой жизни. Маленький пришелец появился на земле, его назвали Гестом и радовались ему.

Сначала он не отличался от других детей. Очень скоро он научился пользоваться своими руками и хватать ими все, что попадалось на глаза; не раз случалось ему промахнуться, но если уж ему удавалось ухватить желаемое, что бы то ни было, то оно немедленно отправлялось, хоть и по кривой линии, прямо в рот, и, пока он не научился отличать съедобное от несъедобного, матери часто

приходилось разжимать ему губы, чтобы пальцами прочистить маленький рот.

Большую часть времени он мирно спал в мешке за спиной матери, где болтался из стороны в сторону, а случалось, и выпадал оттуда, когда мать нагибалась за ракушками, которые собирала на берегу; это приятно разнообразило его дрему, ничуть не мешая спать.

Едва научившись ходить, он однажды после грозы буквально скатился с колен матери, чтобы поймать радугу, которая, как ему казалось, стояла одним своим краем прямо на зеленой лужайке; но радуга все убегала от него, сколько он ни бежал за ней, а когда он дошел до берега моря, она повисла прямо над водой; он, не колеблясь, задрал свой меховой передник и зашлепал по воде; матери пришлось бежать за ним и тащить обратно на берег. Она долго качала головой и смеялась над предприимчивостью маленького мужчины. Ясно было, что он далеко пойдет. И правда: он еще подростком покинул свое племя и зажил на свой страх и риск.

Мать Геста, женщина Каменного века, звалась Гро. Она была как бы матерью всему племени.

Становище так и кишело детьми; из них на долю Гро приходилось изрядное количество, но она никогда не делала разницы между своими собственными и чужими, обо всех заботилась по-матерински. Стоило Гро увидеть ребенка с протянутыми ручонками, как она брала его в свои объятия и давала приют и пищу у своей груди. Первою вставала она поутру и последнею ложилась; никто никогда не видал ее спящей. Племя держалось вместе без всякого насилия, только благодаря ей из среды мужчин не выдвинулось вождя, и, если возникали какие-то разногласия, одна Гро умела уладить их. С ее мнением считались, и ее любили все мужчины.

Под защитой матушки Гро Гест провел детство на залитом солнцем берегу между лесом и морем.

СТАНОВИЩЕ

Место рождения Геста находилось в укромном уголке Зеландии, не на самом берегу морском, но на тихом фьорде Большого Бельта, неглубоко врезавшемся в сушу.

Глядя с моря, никак нельзя было подумать, что берег обитаем; оттуда он казался длинной полосой сплошного леса, плавающей по воде, – так низок был сам берег. На заднем плане, где берег кончался, в море выступал другой поросший лесом мыс, и трудно было решить: край ли это того же самого острова или же какой-то другой из низменного датского архипелага, приютившегося между Балтийским морем и проливом Каттегат.

По небу медленно двигались большие облака, словно плавучие острова; острова в море и острова в небе; море шумело; лазурью сиял длинный день, первобытная тишь стояла кругом; только пели чайки да другие морские птицы; молча подплывал тюлень и смотрел на землю своими влажными глазами; над лесом курился дым, тюлень чуял вдруг неприятный запах и, сжимая ноздри, нырял головой вниз между большими камнями, покрытыми тиной.

Там, где над лесом курился дым, жили люди. Каменистый крайний берег и узкая гряда дюн отделяли лес от воды. На опушке росли низкие искривленные кустарники и деревца, пригнутые ветрами к самой земле; все вместе образовывало чащу, более непроходимую, чем заросли терновника; лишь исподволь деревья становились выше, передние ряды служили защитой задним; с моря лес напоминал покатую крышу, отлого поднимался от берега к середине острова и был, по-видимому, более доступен сверху, нежели снизу, сквозь чащу деревьев. Остров как будто повернулся к морю спиной.

Но в одном месте, как раз у мыса, море вдавалось в сушу, вначале узким и малозаметным для

постороннего глаза рукавом, который затем расширился в настоящий фьорд, заканчивавшийся бухтой; на берегу бухты лес расступался, открывая вход.

На всем побережье фьорда было солнечнее и тише, чем на открытом всем ветрам берегу моря. Солнце сияло здесь большую половину дня, зеркальная гладь бухты не скрывала песчаного дна, отражавшего лучи полуденного солнца. Дно это было сплошной устричной мелью.

Бухту обрамлял каменистый, покрытый водорослями берег, с невысокими обрывами, усеянными галькой, валунами и крупными обломками скал. Над обрывами высился лес. Но в противоположность лесу на берегу моря, строптиво горбившему спину и щетинившемуся низкими колючими кустарниками, здесь лес высоко возносил свои воздушные своды на стройных колоннах-стволах, образуя как бы порталы и открывая широкий проход внутрь, со стороны бухты. Развесистые кроны нежились за ветром на солнышке; здесь всегда было тихо.

Отмели фьорда кишмя кишели белыми чайками, в бухте вода была совсем теплая и не глубже нескольких вершков; птицы целый день пищали, свистели и горланили, хлопали крыльями и полоскались в воде или сидели на больших камнях и лопотали между собой наперебой; звуки, отражаемые плоской водной поверхностью, будили эхо в лесу и долетали до противоположного берега фьорда, где тоже тянулись обрывы, увенчанные раскидистым и освещенным солнцем лесом. И надо всем этим расстилалось синее летнее небо с белыми кучевыми облаками, которые, глядясь в водное зеркало бухты, смешивали свою белизну с белыми крыльями чаек.

В неподвижном воздухе стоял густой теплый чад от гниющих водорослей, нагретой солнцем соленой воды, оставленных приливом раскрытых устричных раковин и белого помета чаек; к этому примешивался пряный запах зеленого леса, малиновый и медовый аромат кустов, трав и цветов, в изобилии росших на лесных полянах.

Вечером здесь становилось тихо и гулко. Тюлень осторожно выплывал из воды, вылезал на большой камень посреди бухты и ложился на бок вздремнуть. И тогда-то случалось, что один или несколько низких предметов, похожих на древесные стволы с какими-то живыми придатками, начинали потихоньку подплывать к тюленю в сумерках. Это были охотники, приметившие морского зверя и норовившие окружить его. С их точки зрения, тюлень был лакомой дичью: хороший запас мяса да вдобавок ценная шкура – как же было упустить случай не попытаться, пока не стемнеет, перехитрить его и всадить в него гарпун? Но, если тюлень, вовремя обнаружив опасность, успевал скрыться в море, охотники так же тихо уплывали восвояси и вытаскивали свои челноки на берег. Женщинам, которые в предвкушении пиршества уже раскладывали костры, давали понять, что это, пожалуй, был вовсе не простой морской зверь, а какое-то сверхъестественное существо, раз он сумел перехитрить столь смысленных охотников.

Становище раскинулось, несколько отступив от прибрежной полосы, вверх по косогору. Тут не на что было смотреть: с десятков служивших челнами выдолбленных дубов издали не отличались от простых стволов, которых здесь валялось немало; а хижины, разбросанные на опушке, и вовсе были незаметны издали, представляя собой простые земляные норы, прикрытые сверху дерном, который сливался с окружающей травой. Летом большинство жителей предпочитало спать на открытом воздухе у костра, под навесом из шкур, распяленных на двух-трех жердях; только женщины да малые дети круглый год спали под землей.

Днем все население бывало на самом берегу, где всегда горел огонь. На берегу люди, если не

уходили в лес или не ловили рыбу на отмелях, занимались всеми своими домашними делами и тут же ели на кучах остатков, скопившихся от прежних трапез; на этих огромных уютных кучах пустых раковин и прочих отбросов каждому вспоминались былые пиры, и все чувствовали себя здесь дома. Резкий удушливый запах стоял над укромным солнечным уголком на лесной опушке под обрывом; здесь всегда было безветрие, пахло гнилой рыбой, тухлыми ракушками и водорослями, известковыми осадками и прокисшей соленой водой, дымом от костра из свежих смолистых деревьев, чадом головешек и прелостью мокрой золы, не говоря уже о собаках, об испарениях непросыхающих человеческих тел и нечесанных голов. Приближаясь к становищу, нельзя было не чихнуть; в носу приятно свербило, и так сладко было чувствовать себя дома.

Да, сиделось тут прямо как на блюде; рядом открытый берег с запасами провизии, настоящая кладовая; вместо стен со всех сторон теплый летний ветер, а сверху купол небес.

Тишиной и покоем веяло на плоском теплом берегу, под облачными арками и провалами, отражающимися в море; морская ласточка молча бросалась с высоты на свое собственное отражение; небо и море покоились в объятиях друг друга, словно два близнеца.

За дальним горизонтом гроыхало; слышался отрывистый подземный рокот, словно кто-то топотал в недрах земли. И казалось, что на свете никогда ничего и не было, кроме полудня и лета.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДАНИИ

Но летние грозы, чуть заметно сотрясающие датские острова, – лишь слабые отзвуки громовых раскатов Ледника, которые сопровождали появление страны. Там, где сейчас над Балтийским морем гуляют белые облака, почти вровень с ними высилась сплошная ледяно-снежная скала, простиравшаяся от самого Северного полюса до Центральной Европы.

Дания всплыла из моря низкими голыми отмелями после того, как лед стаял; движущийся ледяной покров приносил с норвежских гор глину и камни, перемалывая их в песок, который оседал на дно моря по мере того, как лед таял; образовывались песчаные отмели, которые и становились затем островами. Таковы были результаты могучей деятельности Ледника, соскребавшего лишние пласты земной коры в одной стране, чтобы создавать в другом месте новые.

Великая оттепель принесла с собой влажные ветры, носившиеся над новорожденными голыми островами и островками, представлявшими собой сплошные низменности, усеянные гравием и валунами, насквозь пропитанные водой, покрытые по краям сетью заливов и протоков, а посередине – сетью озер и ручьев; вода снизу и вода сверху, постоянные ливни в течение первых столетий после великой оттепели, пока земля была еще холодная; когда потеплело, ее окутали туманы. Но в конце концов солнце и ветер одолели, просушили острова настолько, что чайка могла семенить по земле, не увязая в жидкой трясине, и с этих пор голые песчаные морские мели стали медленно и не без помощи извне превращаться в обитаемую землю.

Одними из первых появились на островах водоплавающие птицы, огромными стаями реявшие в чистом прозрачном воздухе, белые, как пена на гребнях темно-синих волн, как последний апрельский снег на черной земле, как пухлые облака, сквозь которые просвечивает солнце. Птицы спускались на острова, чтобы нестись и высидивать яйца, которые они клали между круглыми пестрыми камешками на берегу, так что их с трудом можно было отличать одни от других. Первый выводок чаек, круглых пестрых птенцов, похожих на пестрые камешки, дал островам первых коренных обитателей, принявших окраску почвы и никогда не улетавших из родных мест настолько

далеко, чтобы не иметь возможности возвращаться обратно и в свою очередь выводить здесь птенцов.

Вода в озерах и других водоемах долго была холодной и такой прозрачной, что малейший камешек был виден на дне; ночные заморозки затягивали пучину хрупкими мостиками; под каменистым покровом еще целые столетия держался лед. Но мало-помалу солнце осилило, согрело воду, и она стала давать приют жизни – невидимым размножающимся росткам, водорослям и инфузориям, посеянным ветром; появились первые насекомые, занесенные с материка весенней бурей, они отложили яички в воде, которая скоро закишела личинками. Каждая лужа стала маленьким мирком, пока еще холодным и пустым; но недолго было появиться и растениям: лишай и мхи одели многочисленные камни, и каменистые поля подернулись зеленью; птицы начали заносить кое-какие семена, другие семена приносило ветром с далеких берегов; тростник и осока укоренились в сыром грунте, папоротник раскинул свою тонкую узорчатую листву над гравием холмов, а в укромном уголке глинистого обрыва расцвел первый одуванчик, пушинка которого залетела сюда в один солнечный день еще в прошлом году и не потеряла за зиму своей всхожести.

Ветер, птицы и морское течение занесли на острова всякие споры и семена, всходившие и размножившиеся в естественной последовательности и прежде всего – самые выносливые. Животные организмы тоже появлялись по очереди, обусловленной наличием соответствующей пищи; самыми первыми были личинки, высывавшие из воды свои дыхальца; затем амфибии и прочая тварь, питающаяся этими личинками, а затем уже крылатые создания, живущие лягушками. В глинистых рвах поселилась саламандра, маленький дракон; жаба приютилась в уголке под влажными камнями, а пруды наполнились лягушками, которые радостным хором приветствовали первые теплые ночи и летний дождь. Когда же в воздухе всерьез запахло весной, прилетел и аист!

Выдра вышла на берег и окунулась для разнообразия в пресную воду – лакомке захотелось раков; а на больших прибрежных камнях разлеглось стадо тюленей и лаем вторило прибою; стая дельфинов неторопливо ныряла в волнах. Так страна жила долгие годы, осаждаемая стаями птиц, поливаемая дождем и посыпаемая снегом, месяцами закутанная в туманы и снова гревшая на солнышке свою наготу, когда ветер разгонял тучи. Каждую зиму все снова покрывалось льдом – озера, пески и камни, – все сливалось в одну общую твердую массу, земля промерзала на значительную глубину. Но каждую весну снова наступала оттепель, и с каждым годом на островах становилось все теплее, земля все больше просыхала и делалась пригодной почвой для растений и животных.

В прудах размножились тина и водоросли и превратили бесплодные, затопленные пространства в илистые болота. Собирались перелетные птицы: шумные полчища гогочущих гусей, лебедей и уток; голенастые птицы с тонкими клювами, которыми так удобно искать в трясине червей и улиток; кулики, бекасы и поморники – бывалые путешественники, проводящие здесь лето; прилетал чибис с растрепанным хохолком и на веки вечные устанавливал раннюю весну. Скоро и жаворонок звенел в воздухе над обнаженной первозданной землей и под льющимися сверху на его певчую голову волнами солнечного света.

Там, где птицы удобрили почву, а отмирающие мхи и лишай образовали пласт перегноя, расцвели цветы и травы, расстелили по земле прохладный ковер; здесь же притулилась карликовая березка; ива развернула под холодным солнцем свои пушистые почки, как делает это и по сию пору; под растительным покровом земля начала кое-как просыхать после оттепели.

Скоро земля стала проходимой повсюду, и каменистые равнины и обширные заросли ивняка и березняка дали приют зайцам, мышам и прочим грызунам, а за ними следом пошла лиса, и хищные птицы закружились над гнездами. Так минула добрая тысяча лет. Олень то приходил, то уходил назад – ему было здесь недостаточно холодно; лето становилось все длиннее, и вот, мало-помалу, не торопясь, упорно и терпеливо, начал отвоевывать себе место лес.

Карликовая береза появилась одной из первых; она может расти прямо на льду, так низко склонившись к земле, что ветер не может сломить ее; она ползет да ползет себе вперед. За ней следом идет, когда становится теплее, и настоящая береза, хрупкое светлое деревцо пропускает ветер сквозь свою прозрачную шапку, осторожно пробирается вперед поодиночке, пока не размножится. Ветер воображает, будто сгоняет березу с места; на самом деле он только гонит вперед ее семена, и скоро березки все теснее смыкают свои ряды. В компании с ними устраивается осина, она дрожит вся с головы до пят, но не сдается и вместе с березой образует первый лиственный лес, воздушный и открытый. По верхушкам гуляет ветер, но внизу, меж стволами, уже есть солнечные уголки, куда ветер не проникает и где приютилась ольха. Следом за нею в лес прокрадывается и волк, а скоро вваливается и медведь, выворачивает из земли камни, ища мышей, и до отвала наедается осенью черники, прежде чем залечь на зиму в берлогу, под снежный сугроб.

Затем идет ель, темная и косматая, с узловатыми корнями, которыми она оплетает камни, чтобы удержаться. Можжевельник ползет на ветру и поднимает голову вслед за ветром, а где никто больше не хочет расти, там одевает обширные, открытые всем ветрам холмы вересковый ковер.

И после всех, когда солнце, ветер и дождь создадут достаточно благоприятные условия, в лесу появляется дуб. Он шествует медленно, шаг за шагом, протягивая вперед узловатые руки и бросая вперед свои желуди, но ему некуда торопиться, потому что он доживает до глубокой старости; березка и осинка почтительно уступают ему дорогу, отходят к болотам, а ель довольствуется бесплодными каменистыми местами; дуб же укореняется там, где чернозем пожирнее, и вместе со своими спутниками – липой, рябиной, дикой яблоней, орешником, жимолостью и боярышником – образует лес.

Возле берега дубовый лес ставит защитную стену из кривых деревьев, которые жертвуют собой, принимая на себя порывы ветра. Дальше лес выравнивается, образуя густые заросли и укромные тенистые уголки, где можно читать, как по книге, всю историю леса, начинающуюся с первых ползучих побегов карликовых деревьев и кончающуюся высокими и стройными, как колонны, стволами. Ветер сюда не проникает и носится поверху, шумит в строптивых кронах; лес стоит непоколебимо и твердо, одев все острова одним сплошным покровом от берега до берега. В лесу нашло себе приют разное зверье – олень и кабан, белка и барсук, всевозможные певчие птицы. Где прежде на ровном просторе гулял ветер, теперь мирно и спокойно высится лес.

Таковая была страна, когда в ней поселились люди Каменного века.

ЛЮДИ КАМЕННОГО ВЕКА

Что это были за люди? И они ли были первыми поселенцами на датских островах? В „Леднике“ рассказывается о происхождении племени ледниковых людей, потомков Дренга. Первые из них были охотниками на мамонта; потом они связали свою жизнь с дикой лошастью и с северным оленем, и когда олень по дороге на север задержался на датских островах, могло случиться, что две-три семьи первобытного племени пришли сюда вслед за стадами оленей, но, вероятно, и ушли за ними,

затерявшись где-нибудь дальше на севере и северо-востоке, в местах, где и поныне водятся северные олени. Пока Дания была степной страной, она соединялась с материком; позднее проливы опять отделили ее острова от земли.

Люди Каменного века были мореплавателями. Они явились на острова с юга, с берегов Балтики, где племя ледниковых людей осело и смешалось с туземцами – лесными людьми; родоначальниками древних датчан являются, таким образом, и те, и другие.

Сами обитатели датских островов едва ли могли бы дать исчерпывающий ответ на вопрос о своем происхождении. Лишь немногие задумывались о прошлом или имели представление о том, когда и откуда они взялись; особенно мало интересовало это молодежь, которая родилась в Становище и для которой весь мир заключался в ближайших окрестностях.

Из стариков же кое-кто помнил еще предания, перешедшие от прадедов; и порою они рассуждали между собою о тех временах, когда люди жили далеко-далеко, в ином краю, куда не добраться на челноке из выдолбленного дуба от одного новолуния до другого, плывя от одного острова к другому и даже обогнув их по всем проливам. Они рассказывали, что в том краю зимы были мягкие, в иные годы снега не выпадало вовсе; люди селились там по берегам больших рек, где всегда было вдоволь рыбы. Еще рассказывали, что здешние острова были открыты одним человеком, который и поселился тут первым. За ним уже стали приезжать другие со своими семьями. Вначале, впрочем, приезжие проводили на островах только летние месяцы, пока продолжался лов рыбы и тюленей. Наезжали сюда по большей части люди молодые и отважные, знакомые с морскими путями. С наступлением холодных ночей они пускались в обратный долгий путь – зимовать на материке. Со временем, однако, люди научились и зимовать на островах; иные добровольно, а иные потому, что, замешкавшись, оказывались отрезанными от материка осенними бурями. Убедившись, что зимовать здесь вполне возможно, многие семьи стали проводить на островах круглый год, совсем не возвращаясь на родину.

До появления первых гостей с материка острова были безлюдны и кишмя кишели никем не пуганной дичью. И вначале птиц можно было брать прямо руками; олени безбоязненно подходили к людям и обнюхивали топоры; охотники поэтому не давали себе труда разыскивать их там, откуда пришлось бы еще с полдня волочить туши к своему лагерю, но преспокойно располагались у костра, и любопытные олени сами приходили к людям в гости, так что их можно было бить на месте. Со временем они, правда, стали осторожнее. По мере того, как охота становилась затруднительной, убавлялось и число приезжавших на острова, тем более что далеко не всех ждал одинаково приветливый прием со стороны самых первых поселенцев, завладевших страной, – иногда целые лодки с людьми исчезали бесследно. В конце концов и самый путь был забыт, и на островах не оставалось никого, кто бы помнил дорогу назад, на материк; те, которые приплыли оттуда, давным-давно перемерли. Да никто и не собирался уезжать отсюда, всем было хорошо и здесь, лишь бы их никто не трогал.

Семьи разрослись в маленькие племена, заселившие разные островки и берега больших островов. Отделенные друг от друга большими расстояниями, они не общались между собой и, по-видимому, не питали ни малейшего желания познакомиться поближе. Каждое племя жило само по себе и склонно было только своих членов считать за настоящих людей, противопоставляя их всем прочим человекоподобным, низко стоящим чужакам.

И жители того маленького охотничьего и рыбацкого Становища, где родился Гест, пребывали в приятном убеждении, что занимают центральное положение в мире.

Число их было так невелико, что все знали друг друга в лицо, не давая себе, однако, отчета в том, сколько именно их было. Когда удавалось убить оленя, каждому хватало по куску, а с прибавкой соответствующего количества устриц племя могло даже быть сытым; но уже по этому можно судить, что семья была все-таки не малая, и забота о ежедневном пропитании задавала всем достаточно работы.

Мир племени был невелик. Он ограничивался бухтой и ближайшими окрестностями фьорда да лесом, который все хорошо знали на расстоянии не дальше, нежели день пути туда и обратно для взрослого человека. Все, что лежало за пределами этого круга, было чуждо и пока ни у кого не возбуждало любопытства. Особенно все опасались забираться далеко в глубь леса: кто мог знать, что там скрывалось в чаще? Нередко случалось, что человек прибегал оттуда в Становище, едва переводя дух и совсем как одичалый, так что его друзьям приходилось валить его на землю и садиться на него, чтобы дать ему время прийти в себя. Вот что бывало с теми, кто отваживался забираться поглубже в лес; лес мог сильно испугать смельчаков.

Открытый берег моря тоже редко посещался. Море там было слишком близким и грозным, а по берегу вела дорога к другим становищам, с жителями которых ни у кого не было охоты встречаться. С ближайшими соседями, от чьих костров подымался вдаль дым, видный с устья фьорда, некоторые сношения велись, но с большой опаской с обеих сторон. Любопытство, которое возбуждали чужаки, давно улеглось; ведь даже самые дальние племена ни видом своим, ни обычаями не отличались от жителей Становища, если не считать кое-каких смешных особенностей, вполне естественных для людей более низкого уровня. В лесу пересекались границы охотничьих угодий различных племен, установленные общим молчаливым соглашением; если случалось охотникам одного племени ненароком столкнуться где-нибудь с чужими, то обе стороны обыкновенно предпочитали ретироваться, напуская на себя самый чопорный вид и соблюдая крайнюю вежливость, в противоположность собакам, которые, разумеется, немедленно вцеплялись друг другу в глотки. Часто, вернувшись домой, охотники Становища у бухты рассказывали о своих встречах с чужаками, которые, хоть и вели себя с большим достоинством, все-таки не произвели ни малейшего впечатления, тогда как сами рассказчики были вполне уверены, что сумели ретироваться чрезвычайно внушительно.

Сухопутные границы области, издревле занимаемой племенем, находились, таким образом, в глубине леса; у моря же его мир кончался сразу на побережье. Море не было океаном, в ясные дни с высокого дерева очень ясно был виден противоположный берег – длинная, низменная полоса земли, похожая на ту, где обитало племя; но все члены племени были уверены, что предки их пришли не оттуда, – в такую даль ни один разумный человек не решился бы плыть на челноке из выдолбленного дуба; скорее они явились с юга, приплыли вдоль берега с мелких островов, находившихся южнее. В том, что сами они жили на большом острове, старики не сомневались, хотя ни разу не обошли вокруг него.

Сидя вокруг огня и обсуждая подобные вопросы, выходившие за рамки будничных интересов, охотники часто замечали одного из мальчуганов матушки Гро, который стоял поблизости, наострив уши, да и нос, и рот в придачу. Иногда они в шутку запускали в него головешкой; иногда же как

будто не замечали такого ничтожного существа, и он стоял себе да слушал. Это был Гест. Он впитывал знание каждой клеточкой своего мозга и глубоко, как бесценное сокровище, хоронил в душе каждое предание, подхваченное на лету.

Так услышал он впервые и о диковинном крае, откуда появились все люди; не о той стране с большими реками, которая находилась сравнительно близко, но о таком далеком крае, что до него не добраться было ни одному смертному человеку, даже если бы он странствовал всю свою жизнь.

Люди покинули этот край так давно, что рассказы о нем, передававшиеся из поколения в поколение несчетное количество раз, по большей части успели совсем стереться из памяти; уцелело лишь смутное воспоминание о самом предании да кое-какие его обрывки.

В том краю будто бы никогда не бывало холодно, не нужно было одежды; у деревьев были груди, которые можно было сосать, а ночью можно было спать в их объятиях! Но лишь немногие верили в то, что подобный край еще существовал или вообще мог когда-либо существовать. Правда, каждому было хорошо известно, что деревья и теперь еще являются священными покровителями людей, но все прочее звучало слишком невероятно, отчего предание и не могло никогда позабыться совсем.

Первые люди расстались с тем краем во время ужасного наводнения, когда большая часть населения погибла, и спаслись только те, у кого были челны из выдолбленных дубов и кто умел ими управлять; от этих-то людей и вели свой род люди Каменного века, челны которых были явным свидетельством достоверности этой части предания.

Гест слушал, и рассказ запал ему в душу.

ДЕЛО РУК ГЕСТА

Становище кишело ребятишками, которых мужчины вечно гоняли с места на место, чтобы они не болтались под ногами и не мешали. Матери, наоборот, баловали ребят, всегда защищали их, с азартом колотили палки и камни, о которые малышам случалось споткнуться и ушибиться, а поколотив, стряхивали боль и обиду, то есть делали вид, будто пригоршнями собирают боль с ушибленного места и кидают ее в лес; матери всегда были заодно с ребятишками. Третьей силой в Становище являлись собаки, и с ними отношения были самые неустойчивые: ребятишки то ссорились с ними из-за кости или огрызка кишки – собака тянула за один конец, а малыш за другой, – то дружно играли вместе и мирно засыпали в объятиях друг друга; едва научившись ходить, малыши таскали повсюду за собою на руках щенят и вообще большую часть времени проводили в играх с собаками. Кроме того, они день-деньской то плескались в мелкой воде у берега, где были в полной безопасности, то играли у самой воды в песок, копали ямки и канавы, подражая взрослым. Ходить в лес детям запрещалось; там их мог утащить волк; на охоту их не брали до тех пор, пока они не были приняты в круг мужчин, после чего они уже совсем покидали мир детей.

Гесту этот мирок рано показался тесным, но и в круг взрослых его еще не тянуло – он с ними не ладил. И мало-помалу у него созрел план войти в мир взрослых мужчин, не спрашивая у них на то позволения, не завися от них ни в чем; и в матушке Гро он нашел себе верного союзника.

С самых ранних лет он вечно что-нибудь мастерил для себя: сначала игрушки, а потом настоящие орудия, как у взрослых; у него было свое местечко для работы, возле большого камня, которое он сам выбрал себе в сторонке от Становища.

Тут он проводил длинные летние дни и сам сделал себе первый топор. Ему давно не хватало топора, и, так как никто не давал ему такого орудия, пришлось позаботиться об этом самому. В Становище

ничего нельзя было трогать – все принадлежало кому-нибудь: не взрослым, так самому лесу, или морю, или духам, у которых вообще нельзя было брать ничего, не дав чего-нибудь взамен, а раз тебе нечего им дать, так и надейся только на свои силы, работай! Так учил Геста опыт с самого детства. Ему удалось завладеть сброшенным оленьим рогом; мальчуган нашел его в лесу, куда украдкой бежал, и забрал себе, убежденный, что рог был оставлен там нарочно для него. Гест мысленно поблагодарил за это оленя, а так как находка была обретена в лесу, то спасибо и лесу за такой знак расположения.

Мурлыча себе что-то под нос, Гест рассматривал олений рог и раздумывал, как сделать из него топор. Товарищи позвали его играть, но он повернулся к ним спиной, собака стала ластиться к нему, но он оттолкнул ее локтем, даже не удостоив взглядом. Олений рог, длинный и тонкий, с небольшим числом ветвей, мог – если снять последние – стать отличным топором, с узкой удобной рукояткой. На другом, более широком конце был крепкий толстый отросток, часть которого надо было срезать, а затем просверлить в отрезе дыру, чтобы вставить кремневый осколок – лезвие топора. Долгая, кропотливая работа, но день велик, и Гест запел громче, уяснив себе ход работы. Распевая, он услышал, что неподалеку поет еще кто-то: это была маленькая девочка по имени Пиль, подруга Геста по играм с самого раннего детства. Ее мать жила дверь в дверь с матерью Геста, и дети всегда бывали вместе. Родилась она нежной и мягкой, вся в белом пушку, точь-в-точь весенняя почка ивы; вот мать ее, сама почти ребенок, и дала ей имя в честь этого деревца. Росла девочка стройной, как лозинка, а ее гладкие, блестящие волосы напоминали солнечное сияние; она охотно улыбалась и была самая кроткая из всех девочек. Как и Гест, Пиль любила играть в одиночку, но ее всегда можно было разыскать с ее игрушками где-нибудь поблизости от Геста.

Мальчик видит, что сейчас она обдирает лыко с липовой ветки, которая ей случайно попала; кора настолько подсохла, что отделяется легко, не повреждая луба; девочка рвет лыко узкими полосками и кладет их рядышком на землю, видимо, восхищаясь про себя рисунком будущего плетенья или тканья.

Гест немедленно берется за свою работу, и она его так поглощает, что он часами не замечает ничего вокруг... Прежде всего надо обрубить все лишние ветви; он кладет их на камень и колотит по ним другим камнем так близко к самому стволу рога, как только это возможно, не повредив ствол. Потом надо будет соскоблить и сравнять все шероховатости. А до этого еще обрубить толстый крайний отросток, в отверстие которого будет вставлено кремневое лезвие. Все это занимает время, и для работы нужны острые осколки кремня. Он откалывает их один за другим, на что тоже нужно время и терпение; хоть он и бьет по камням изо всей силы и во всем подражает взрослым, ему не всегда удается получить вполне пригодный осколок; чаще приходится довольствоваться более или менее подходящими; ими он режет и пилит толстый отрог до тех пор, пока осколок не сломается или не иступится совсем, а надрез все как будто не становится глубже! Просто не дожидаться, когда перепилишь! Вся кровь в нем кипит от нетерпения; он даже не поет больше; напрягает все свои силы, злится на свои жалкие кремневые орудия, которые ломаются, если края слишком остры, и не режут, если они слишком толсты. Он бешено пилит своим осколком до боли в руках; порезал себе ладони острыми краями; нужно бы обмотать их, но досуг ли ему долго возиться с этим? Проще взять лыка у Пиль, которая лишь слабо сопротивляется; и он отнимает у нее добрую половину ее плетенья, обматывает края осколков и продолжает пилить и строгать полдня, пока надрез не углубляется

настолько, что отросток можно отбить одним ударом.

Гест жадно осматривает поверхность надреза, где теперь надо просверлить дыру для лезвия топора. К счастью, в середине ткань рога менее плотная, и ее легче просверлить, но для этого нужны особые осколки, и Гест бьет и дробит кремень; получается масса осколков, кремни так и звенят под его руками; издали слышно, что здесь идет работа не на шутку, серьезная и спешная. Гест сверлит, дует в дырку и снова сверлит; щеки его горят, руки дрожат от нетерпения, но он не сдается; видно уже, какой хороший выйдет топор, каким он будет ему отличным помощником, и мальчик во что бы то ни стало хочет его закончить!

Торжествующий крик, раздавшийся с места работы между прибрежными камнями, возвестил, что дыра просверлена. Время уже к вечеру. Гро скликает своих ребят к огню и угощает печеными устрицами, прямо из золы; они еще дымятся в собственном соку из соленой влаги, но Гест ест второпях, не спуская глаз с наполовину готового топора, который держит в руке; поев, он бежит к ручью напиться – и снова за работу.

Самое трудное и самое важное еще впереди: нужно отбить кремень так, чтобы вышел клинок с достаточно острым лезвием, притом такой формы, чтобы можно было плотно вставить его другим концом в отверстие на топорище. Но Гесту долго не удастся отбить кремень как следует – клинок выходит неровный, даже если лезвие более или менее удачно; он делает одну попытку за другой, разбивает вдребезги кучу кремней, но они, годные с одной стороны, оказываются негодными с другой: то неплотно сидят в отверстии, то малы, то велики. Он приходит в отчаяние от непреодолимых затруднений; даже всплакнул потихоньку, горькие слезы досады обжигают ему веки и душат его; он разбивает вдребезги неудачный клинок, растирает его в порошок; слезы застилают ему глаза; волосы топорщатся от упрямого задора, и он начинает снова; сморкается и опять принимается за дело, более основательно. Пospешишь – людей насмешешь! И он с медленным упорством борется с бездушным строптивым материалом. Негодные мерзкие камни смеются над ним, ломаясь на куски, – хорошо, тогда он изменит тактику: высверлит дыру поглубже, раз кремень все шатается и не хочет плотно сидеть в топорище. Потом он старается отбить подходящий длинный и узкий брусок.

Но когда это почти удалось, кремень вдруг ломается пополам!

Гест взвыл и изо всех сил ударил кулаком по обломкам, ушиб себе палец, который сперва побелел, а потом посинел. Мальчик весь дрожал, но затаил гнев, сделав вид, что палец ему совсем чужой, – даром что боль была почти невыносимая.

– Тихо! – шипит он с пеной у рта. – Начинай снова, болван!

И он, хотя и обижен до глубины души, спокойно берется за новый камень и начинает работу, орудия девятью пальцами, так как десятый вышел из строя: распух и онемел. Он все-таки добьется своего во что бы то ни стало!

Отчасти путем расчета, отчасти наугад, ему в конце концов удастся отбить клинок для топора, подходящий и по длине, и по ширине, который почти без труда входит в отверстие на топорище и плотно сидит там. Лезвие вышло и прочным, и широким, и острым, пригодным для всякой работы, даже в качестве оружия. Гест поставил клинок поперек топорища, чтобы вышла секира, годная для любых намеченных им целей.

Итак, он вышел победителем, одолел грубый материал! Как бы случайно проходит он мимо Пиль со

своим произведением; она сразу замечает мастерское изделие и смеется восхищено-почтительно, рассыпается похвалами; а Гест лишь небрежно кивает – не стоит, мол, и говорить: так, безделка, пустое времяпрепровождение и больше ничего! Но потом ему кажется, что Пиль все-таки недостаточно оценила оружие, и он обращает ее внимание на то, как удобно держать топор в руке, любовно гладит его пальцами и не находит слов, чтобы описать всю его красоту и совершенство. И правда, топор как будто занесен для удара, он имеет самый боевой вид. Мимоходом Гест отмечает, что топор еще не совсем готов, надо соскоблить и сгладить кое-какие неровности на топорище. Затем, обращаясь преимущественно к самому себе, объясняет, что отросток, куда вставлен клинок, нужно основательно туго-натуго обмотать, чтобы он не треснул при работе. Тогда можно будет ударять топором что есть силы.

Наморщив брови и посасывая свой ушибленный палец, Гест рассматривает затем работу Пиль и одобрительно кивает: ты, мол, тоже не сидела сложа руки. Пиль насучила массу пряжи из лыка, делала она это так: зажимая два волокна лыка между пальцами одной руки, катала их другой рукой о свое бедро в одну и ту же сторону; от этого они скручивались и образовывали крепкую нить. Из этих нитей она ткала рогожку себе на юбку. Юбка должна выйти чудесная!.. Ткацкий станок Пиль очень прост: он состоит из одной палки, к которой девочка прикрепил нити пряжи вплотную друг к другу, а затем пальцами вплетает поперечные нити, продевая их то под, то над каждой продольной. Вся работа лежала прямо на земле и была так велика, что нечего было и думать закончить ее сегодня или завтра.

Гест кивнул и вернулся в свою мастерскую к большому камню. Теперь надо начинать обмотку, и он боится, что ему не удастся закончить топор сегодня; для хорошей прочной обмотки необходимы свежие звериные жилы или кишки; он обошел все Становище, побывал в землянке у матери, но нигде не нашел нужного материала; нигде не видно было остатков свежей добычи, хотя всюду валялось множество всяких объедков, над которыми добросовестно трудились собаки. Гест сокрушенно и печально побродил кругом и снова пошел навестить Пиль.

А та тем временем, отложив свое тканье, присоединилась к своим подругам, которые собирались лепить из глины. Ее было много на обрыве, где сочился родник, окрашивавший песок в красный цвет; по-видимому, в нем была охра, и к нему часто приходили женщины, чтобы немного подкраситься и навести лоск. Пиль и ее подруги тоже приукрасились немножко, вымазав себе краской все тело, где только могли достать руками, и оставив незакрашенным лишь промежуток между лопатками. После этого они накопили глины, слепили ее в большие комья, отправились с ними на берег и расположились у больших плоских камней, на которых было так удобно мять глину. Откинув со лба волосы, все стали лепить горшки. Воду для формовки черпали из моря большими раковинами. Сначала девочки скатывали длинные круглые полосы, затем накладывали их кольцами одну на другую, когда кольца достигали желаемой высоты, девочки пальцами слепляли их края и сглаживали бока плоским камешком; получались горшки, которые они ставили сушиться на солнце. В противоположность нетерпеливому Гесту, девочки не торопились и мяли свою глину с прохладцей, болтая друг с другом и глядя, как горшки потихоньку растут под их руками. Изделия их отличаются одно от другого, но все имеют форму горшка, раз и навсегда выработанную руками женщин. Горшок с виду напоминает женскую фигуру – с округлыми боками, расширяясь книзу и вмещающая в себя все что угодно; горшок – воплощение вместимости; посередине он

суживается, но затем снова расширяется к краям; сколько в него положат, столько он и вернет назад. Некоторые девочки лепили низкие, толстые горшки и даже совсем маленькие, как плошки; у Пиль же все горшки выходили высокие и узкие, похожие на водяные лилии. Когда все горшки были готовы и стояли для просушки на солнце, изделия Пиль выделялись из остальных своей стройностью и тонкостью лепки.

Гест сокрушенно вздыхает, созерцая забавы девочек. Но вдруг он быстрым шагом направляется назад к себе – угриная кожа!

Без сомнения, угриная кожа может заменить жилы и кишки, раз их негде достать! Угриная кожа прочнее всего на свете. Хорошо бы взять челн, выйти в море и наловить всего, что требуется! Но этого-то как раз и нельзя, и это всегда мешает Гесту осуществлять свои планы – у него нет своего челна. Они все принадлежат взрослым, и, если их тронуть, получишь хорошую взбучку, как собака; просить позволения и наверняка получить отказ, как делают другие мальчики, Гест не желает; лучше уж он на свой страх и риск выйдет в море – верхом на старом пне, который ему удалось выкорчевать из земли; пень выдержит его тяжесть.

Вместо остроги ему служит ореховая палка, которую он предусмотрительно расщепил на одном конце. Завидев что-нибудь на дне мелкой бухты, он нацеливался расщепленным концом палки и старался зацепить добычу, как клещами, будь то краб, водоросли или еще что-то, подчас и угорь; но угорь-то в большинстве случаев выскользывает из клещей прежде, чем мальчик успевае вытащить его из воды. Сегодня, когда дело особенно срочное, оно, конечно, и вовсе не ладится. В водорослях полно угрей; они так и кишат там, извиваются, как змеи. Гесту не раз удается зацепить клещами то одного, то другого, но добыча каждый раз ускользает. Да и как же иначе? Расщепленная палка раздвигается, упираясь в песчаное дно, и чем сильнее давить, тем больше растопыриваются ее концы. Остроги взрослых мужчин Становища стоят прислоненные к деревьям на лесной опушке, но, даже если только задеть и уронить их нечаянно, взрослые наградят такими оплеухами, что в голове будет звенеть целый день; так где уж там попользоваться ими!.. Эти остроги – с зубьями из кости или оленьего рога, прикрепленными так, что зазубрины обращены друг к другу. Устройство замечательное, но такого орудия не раздобыть и самому наспех не сделать. Однако Гест вышел на берег и переделал свои клещи, обмотав их таким образом, чтобы расщеп не мог раздвигаться шире, а посередине между двумя его развилинами воткнул большую острую рыбью кость. Затем он снова пустил в ход свою острогу, и на этот раз угорь не ушел, зацепился и удержался на острие кости. Но возни с ним было немало: такой он был длинный, тяжелый и живучий; извивался даже после того, как ему оторвали голову. Пень завертелся под мальчиком, и он, нырнув в море в глубоком месте, порядком нахлебался воды, пока снова не взобрался на свой пень. Его тошнило и рвало, но угря он не выпустил из рук и приплыл с ним к берегу.

Кожу Гест содрал с угря наилучшим способом – зубами, но разорвать ее затем на узкие полоски было значительно труднее; долгая, изнурительная работа, особенно когда кожа сырая. Мальчик работал усердно, но все-таки не справился до самого вечера. Стемнело, все дети разошлись по своим землянкам, и лишь горшки девочек одиноко стояли и сохли на берегу. Было уже совсем темно, когда Гест нарвал полосок и обмотал топорище, выплевывая застрявшую у него в зубах кожу и набившуюся в рот слизь.

Зато когда обмотка высохнет, она будет прочнее прочного. И мальчик даже ночью просыпался и в

полусне щупал – просохла ли обмотка.

На другой день он встал пораньше, чтобы испробовать свой топор; клинок сидел так крепко, что никакая сила не выдернула бы его, и роговое топориче никак не могло лопнуть благодаря обмотке. Мальчик отправился в лес, и оказалось, что топор рубит ветки орешника толщиной в руку, притом с неопишуемой быстротой. У Геста даже голова кругом пошла, и он готов был приписать своему топору чудесные, сверхъестественные свойства, несмотря на то, что сам смастерил его. Недаром топориче было когда-то частью оленя – последний должен был передать оружие свою быстроту и силу, значит, оно будет опасно на охоте в лесу. А раз в топоре есть кое-что и от рыбы – значит, он будет иметь силу и удачу также на море!

Но годится ли топор для более трудной работы, которую замыслил Гест, – для работы над постройкой челна – скоро будет видно.

Несколько в стороне от Становища, на опушке леса и совсем недалеко от берега, рос дуб – высокое, прямое дерево с безукоризненным стволом, который как будто нарочно был создан для челна. Гест давно облюбовал это дерево и мечтал о том, какой дивный челн вышел бы из него. Ствол был толщиной в два человеческих тела, а в длину больше, чем нужно; судно будет широкое, но зато необычайно длинное, поворотливое, быстроходное, и в нем легко уместятся двое. Стояло дерево у самого моря, словно само постаралось подойти ближе к воде и стремилось скорее в путь. Теперь, когда топор был готов, у Геста было одно желание – поскорее свалить дерево и вырубить себе из него челн, как у взрослых.

Гест едва научился ходить на двух ногах, как в нем проснулась страсть к мореплаванию; он целыми днями плескался в теплой воде у берега и пускал щепочки с одного острова на другой – островами были большие камни в бухте; позднее он придавал щепочкам вид настоящих лодок, выдалбливая их из чурок, и совершал с ними дальние путешествия к чужим берегам – к камням у входа в бухту, где вода доходила самому шкиперу, шлепавшему рядом, почти до подмышек. В этих играх ему всегда помогала Пиль, и они так увлекались своей забавой, что забывали все окружающее и ничего не видели и не слышали. Теперь игра должна была претвориться в действительность.

Гест задумал переселиться. Он еще не вполне уяснил себе свое желание, но все детские мечты и все, что он предпринимал за последнее время, было неукоснительно направлено на достижение этой цели. Смелая была затея мальчика – одному свалить большой дуб и потом вырубить из него челн, но главная трудность была еще не в этом: предстояло преодолеть и другие, более серьезные препятствия. Во-первых, вообще не полагалось трогать дерево – это было преступлением против леса, раз нечем было отблагодарить его. Во-вторых, никак нельзя было брать огонь от костров в Становище; костры принадлежали взрослым и были священны и неприкосновенны. Но без огня работа становилась делом безнадежным.

И вот, в то самое утро, когда топор был закончен и испробован, Гест взял огня от домашнего костра матери и начал разводить костер возле дерева; но, как только показался дым, явился один из мужчин, задал Гесту хорошую трепку и затоптал огонь, причем этот баран, к счастью, обжег себе пальцы на ногах! Однако, едва он ушел, Гест снова разжег свой костер головешкой, найденной в золе, и снова взялся за работу. На этот раз в Становище поднялся настоящий бунт; прибежали разозленные мужчины и за уши поволокли Геста на расправу. Гро высунулась на порог своей землянки; мужчины махали руками и ругались, жаловались на мальчика. Собаки, по обыкновению, ввязались в общую

перебранку, лаяли, щетинились и кидались друг на друга; всеобщая тревога на мусорной куче! Но мужчины быстро отпустили Геста, уstraшенные выразительной мимикой Гро. Ругань продолжалась, но дальше этого дело не шло, и строптивый Гест, вернувшись к своему костру, разжег его в третий раз. И никто уже не мешал ему больше, хотя издали он слышал ворчанье и брань в Становище.

Гест провинился не на шутку: подросток, еще не принятый в круг мужчин, сущий щенок, вдруг осмелился играть с огнем! Слыханное ли это дело? Но он был сыном Гро; она же мягко обронила замечание, что, пока он не принят в мужской круг, им нечего и соваться учить его. Гро была так прекрасна, груди ее так соблазнительно выставлялись из-за порога землянки, что дело ограничилось долгим многоголосым шумом и гамом в Становище, пока Гест преспокойно разжигал огонь и продолжал свое дело под деревом.

Когда ему удалось развести большой костер, он стал накаливать на огне крупные камни и обкладывать ими ствол дуба у самого корня; выхватывал он из костра раскаленные камни особенной веткой с двумя развилинами, которую все время мочил в воде, чтобы она не обуглилась. Корни дуба задымились, запахло гарью, и, прежде чем остыть, камни прожгли изрядный кусок древесины у корня. Гест взял у матери горшок и держал его с водой наготове на случай, если бы огонь чересчур разошелся и охватил самый ствол дерева.

Со своего места он видел, как рыжеволосые охотники в Становище сначала прямо остолбенели, когда поняли, что он задумал, а потом в свирепом бессилии замотали головами: и куда только смотрит матушка Гро? Что выдумало ее отродье? Валить деревья! А что скажет лес? Что теперь будет, на чью голову обрушится месть леса за такую неслыханную дерзость бесстыдного щенка?! Гест молча кивал головой, наваливая все новые камни; он хорошо понимал тревогу мужчин, но пусть они успокоятся; он уже все обдумал, и лес получит свою жертву. Он не возьмет дуба задаром, он заранее решил отплатить лесу за дерево, когда вырастет: принести ему жертву, настоящую жертву – не оленя и не зубра, а парочку людей, парочку этих самых молодчиков из Становища, да, да!.. И Гест привалил еще несколько раскаленных камней к корню дуба и, слушая их шипенье, представлял себе на их месте своих недругов. Уши у него так и горели; он потрогал их. Да, да, лес получит свою жертву!.. Теперь он уедет отсюда, но через несколько лет вернется и отдаст лесу, что ему полагается; долг платежом красен!

Все время, пока Гест работал над своим челном, в Становище стоял глухой ропот. Мужчины делали вид, что не замечают проделок мальчишки, хотя и были немало оскорблены тем, что он не считается с их мужским авторитетом. Их самих держала в руках Гро; она позволяла им ворчать, стараясь обратить все дело в шутку, не стоящую внимания. Она ведь не была посвящена в тайны мужчин и считала себя свободной от всяких обязательств перед их богами; мужчины никогда не посвящали женщин в религиозные обряды и церемонии жертвоприношений. По ее мнению, это были всего лишь мужские фокусы, выкрутасы, которыми мужчинам угодно было усложнять жизнь; что до нее, то она всегда предпочитала действовать просто и прямо, когда дело касалось ее лично или ее детей. По этому поводу в Становище часто возникали разногласия, причем население обычно делилось на два лагеря: на одной стороне женщины и дети, на другой – мужчины.

Настал день, когда дуб свалился. Гесту после долгих трудов удалось пережечь его корни; огромное дерево накренилось со страшным треском, слышным на большом расстоянии, с шумом уронило

ветвистую крону и, наконец, с громовым вздохом рухнуло наземь, сотрясая весь берег своей тяжестью. Мужчины очнулись от послеобеденной дремы и загалдели, возмущаясь наглостью мальчишки, который тревожил мир со всеми его лесными и небесными силами. Гро опять пришлось высказать им свое мнение. Дети, следившие за спором, сбившись в кучу в почтительном отдалении, с удивлением увидели, как матушка Гро одна укротила толпу бесновавшихся мужчин – только словом да улыбкой; волосатые мужчины громко ругались, свирепо бряцали оружием, мучились жаждой крови и готовы были ринуться на преступника с гарпунами, топорами и луками, чтобы положить конец святотатству, как вдруг – опустили руки и молча разинули рты: матушка Гро что-то такое молвила им, посмеиваясь. Наверное, она умела колдовать! Дети не слышали, что именно она сказала, или просто не поняли, но ясно было, что сражение закончилось и победа осталась на стороне матушки Гро без малейших усилий с ее стороны.

А матушка Гро только то и сказала мужчинам, что, если они вздумают убивать ее детенышей, то пусть не рассчитывают после этого найти ее дверь открытой в сумерки. Еще чего! Сначала они будут кидаться друг на друга, словно бешеные быки, чтобы отбить ее друг у друга, а потом начнут уничтожать свое собственное потомство?! Гро даже фыркнула слегка, и этого было достаточно! Никто из мужчин не желал попасть в немилость к матушке Гро. Один за другим сложили они оружие, торопясь, как бы не оказаться последним; оружие так и сыпалось на землю. И пока они стояли с пустыми руками, косясь друг на друга, Гро выпустила в них свой последний заряд – сперва хорошенько высмеяв их, она обратилась к ним с вопросом: есть ли среди них хоть один, кто мог бы быть уверен, что тот, кого он только что собирался умертвить, не сын ему?..

Озадаченные мужчины закашляли, замотали головами, словно быки. Вопрос Гро поставил их в тупик; отцовство осознавалось ими с трудом, дети видели, как они, потупясь, жевали свои бороды, в то время как матушка Гро продолжала смеяться над ними, но теперь уже более добродушно, знакомым ласковым смехом, возвещавшим мир и успокоение в лагере взрослых.

Но солнцу не суждено было зайти в тот день без того, чтобы стая детей все-таки не убавилась в числе. Гро удалось утихомирить обиженных мужчин, но их охотничий пыл нашел себе иной выход. Шум и гам из-за Геста улеглись, прерванный послеобеденный сон возобновился, жаркий день стал уже подходить к концу, как вдруг в Становище опять поднялся шум, крик и смех. На этот раз смеялись мужчины, и не добрым смехом, а сквозь его взрывы слышались чьи-то жалобные вскрики. По многим признакам обнаружилось, что одна из девочек в детской стае больше уже не ребенок, и сейчас же началось громкое хлопанье в ладоши, вызывавшее ее на брачные бега. Первый из парней, сделавший открытие, с хохотом захлопал в ладоши, а за ним захлопали разом и все остальные мужчины в Становище, словно целая стая птиц, снявшихся с места, забила крыльями. При этом все неистово хохотали. Вспугнутая этим бурным весельем детская стая бросилась врассыпную, а бедная маленькая женщина, зная, что ее ждет, со всех ног кинулась бежать в лес. Мужчины захохотали еще громче и еще сильнее захлопали в ладоши – этого-то они и добивались; она сделала как раз то, что им было нужно, воображая, что таким образом спасется. Пусть бежит, у-лю-лю!.. И под дикие охотничьи крики и неистовый лай собак началось преследование дичи.

Оно бывало более или менее продолжительным, в зависимости от быстроногости девушки и от ее умения прятаться; собаки иногда отказывались выслеживать ее, если она была добра к ним; и нельзя было знать заранее, кто первый настигнет дичь, не решив вопроса, кто из охотников быстрее всех на

бегу и всех упорнее в преследовании; сама же охота всегда имела один и тот же конец – девушка бывала поймана. После этого бедняжку, которая до сих пор беззаботно играла с детьми, можно было найти забившейся в самую глубь одной из зимних нор, всю в крови, дрожащую всем телом и неутешно рыдающую, даже много часов спустя.

С этого дня она переходила в круг женщин; ей давали заостренную палку, и она должна была ежедневно набирать устриц для трапезы охотников к тому времени, когда они возвращались в Становище и, зевая, усаживались у костра; играть ей уже больше никогда не позволяли.

С лесной опушки, где работает Гест, целый день доносятся удары топора; изо дня в день, с навевающей дремоту однообразной правильностью: это Гест продолжает свою работу.

Поблизости сидит солнечноволодая Пиль, нисколько ему не мешая; у нее хватает своих дел. Занятая тканьем тончайших рогожек, она сама с собой разговаривает, шепчет про себя и плетет, всегда довольная своим одиночеством. Только когда в нее попадает щепка из-под топора Геста, она поднимает голову и зябко моргает: видно, Гест опять не в духе; не спорится у него работа, и он злится; беда, как этот мальчик портит себе жизнь своей вспыльчивостью.

Он занят сейчас отделкой своего челна. Свалив огромное дерево, он ходит вокруг него, словно маленький великан, и рубит своим кремневым топориком; до отчаяния неравная борьба! Массивное бревно лежит себе преспокойно, словно похваляясь своим чудовищным запасом древесины, большая часть которой должна быть вырублена; но Гест упрямо машет топором, решив во что бы то ни стало добиться своего.

Сначала он сделал надрезы на коре и содрал ее большими кусками; когда же ствол оголился и легче стало судить о его форме, Гест развел огонь у самого корневища и сжег его, а затем сжег часть верхушки, оставив от ствола ровно столько, сколько нужно было для челна. Огонь почти один справился с этой задачей; мальчику оставалось лишь следить и вовремя заливать огонь водой, когда тот забирался чересчур далеко. После этого Гест принялся за отделку. Дело подвигалось бы лучше, если бы он мог перевернуть бревно и работать сверху, а то приходилось работать под ним, снизу, – во что бы то ни стало надо было слегка заострить дуб, хотя бы с одного конца.

Работа требует многих, многих дней. Гест совсем разучился говорить за это время; он только рубит да рубит щепку за щепкой, заостряет свой топор, когда тот перестает рубить, и это отнимает у него полдня. От забот у него появились морщины на лице, между бровей легла складка от усилия мысли, даром что он так молод. Страстное желание поскорей увидеть свой челн готовым, каким он давно рисовался ему в мечтах, не дает Гесту покоя, и он с таким упорством добивается своей цели, что почти сливается воедино с бревном; каждая щепка говорит что-то его душе, каждая имеет особые свойства и по-своему противится его воле; он весь пропах острым ароматом свежей дубовой древесины, и руки его почернели от источника ею сока. И, наконец, он добился своего, придал бревну ту форму, которую хотел!

Не медля ни минуты, он приступил к долблению ствола, чему заранее радовался и к чему нетерпеливо рвался. Сначала надо снять со ствола горб почти во всю его ширину. Эту работу Гест осиливает с помощью топора, но тратит на нее много дней и расплывается мозолями на ладонях и даже открытыми ранами; но раны заживают, и он может наконец приступить к самому долблению дерева тоже при помощи раскаленных камней, утешаясь тем, что теперь уже виден конец работы. Зато теперь нужно неустанно быть начеку, стоять наготове с водой, чтобы вовремя заливать.

Выжженную и обуглившуюся древесину он еще раз обрабатывает топором, вновь выжигает и вновь обтесывает после огня; он продолжает так до тех пор, пока дуб, выдолбленный весь до днища, не становится похожим на узкое корыто. Теперь все в порядке – дерево поплывет!

Громкие победные крики доносятся в тот день с места работы Геста, дикие крики восторга, и, хотя мужчины молча согласились не обращать больше никакого внимания на затеи мальчишки, раз им не удалось вовремя помешать ему, трудно оказалось удержаться, не пройти мимо и не взглянуть, как далеко подвинулась работа.

Но они нашли Геста онемевшим; крики радости застряли у него в горле, и он, как потерянный, стоял подле своего челна: Гест упустил из виду одно обстоятельство – как ему сдвинуть свой челн в воду! До нее всего несколько шагов, но, попытавшись сдвинуть дуб с места, мальчуган сразу почувствовал, что дуб словно прирос к земле и недвижим, как скала. Гест забыл подложить катки под падающее дерево. Как он мог забыть об этом?!

Из лесу выходят двое мужчин, подсматривавших за ним, и с притворным участием спрашивают его: почему его челн не хочет сдвинуться с места? Их животы колышутся от сдерживаемого хохота; к ним присоединяются другие мужчины, собирается целая толпа, и все скалят зубы, до упаду хохочут над несчастным мальчишкой, прислоняются друг к другу, шатаются, прямо изнемогают от смеха: редко получаешь такое удовольствие.

Вдруг между ними показывается Гро, привлеченная диким хохотом; она тоже смеется. Гест видит, что она смеется, но, еще продолжая ворковать, – смех матушки Гро похож на воркование горлинки, так как она слегка задыхается от своей толщины, – но еще продолжая ворковать, она подходит к носу челна, приподымает его без разговоров и в два-три толчка спихивает челн в воду! Убедившись, что дуб плывет, она легонько подталкивает его вперед и с улыбкой шлепает по воде обратно на берег к сыну; его неутешное горе в мгновение ока сменяется выражением счастья; он смеется сквозь слезы. – Ну, теперь можешь ехать, – нараспев говорит она ему, кидает мужчинам обиженный взгляд, поворачивается к ним спиной и спокойно уходит назад к землянкам.

Мужчины застыли на месте. Смотрят на пыль, еще не улегшуюся над бороздой, которую провела корма судна, и косятся на спину Гро, – они и не воображали никогда, что она так сильна!.. Пожалуй, ее сил хватило бы как раз на четверых мужчин!

Они смотрят ей вслед. Она идет, рослая, медлительная и тяжеловесная; жирные бедра так и трясутся на ходу; колени слегка вывернуты внутрь, как и полагается женщине; она такая толстая, что не может прижать к телу руки, и они болтаются по бокам; земля дрожит под ее шагами... До чего она прекрасна!..

Да и сильна же!.. Мужчины с глупым видом переглядываются. Один заинтересовался небом – очевидно, озабочен тем, какая будет погода; другой в замешательстве крутит пальцами соломинку; третий усиленно чихает и прочищает нос. Кое-кто уже улизнул потихоньку. Остальные тоже рассеиваются. С тех пор никто не вспоминал об этой истории.

А Гест тем временем хватает двухлопастное весло, давно изготовленное им из древесного сука, и прыгает в свой челн, глухо, но приятно скрипнувший и захлопавший по водной поверхности. Дуб отлично сидит в воде; сразу видно, что челн хоть куда, и вскоре Геста видят плывущим по бухте в новом светлом челне; он попеременно гребет то правой, то левой половиной весла.

Так Гест спустил на воду свой челн.

Несколько дней спустя кое-кто обратил внимание на то, что Геста больше не видно и не слышно в Становище. Всегда проходило некоторое время, прежде чем чье-либо отсутствие замечалось другими. Наконец всем стало ясно, что Гест скрылся, пропал вместе со своим новым челном. Пропала и девочка по имени Пиль; ее белокурая головка уже не мелькала больше среди детской стаи. Женщины заметили это первые; потом уж и мужчины, обиженные тем, что опять их не спросили. Они прибавили похищение девочки к прочим прегрешениям строптивного мальчишки. Но матушка Гро спокойно подтвердила, что Гест в самом деле уехал и взял с собой свою подругу по играм, против чего Гро не возражала. Больше об этом и речи не было.

Вскоре обоих детей позабыли, и самое имя Геста перестали бы поминать, не случись одного досадного происшествия, заставившего припомнить все преступления Геста.

Один из мужчин погиб на охоте при очень странных обстоятельствах. Вечером он не вернулся домой со всеми остальными; на другой день пошли его разыскивать и нашли напоровшимся на кол в собственной звероловной яме, куда он угодил впотьмах. Он еще был жив, когда его вытащили, и сам дошел до дому, придерживая руками свои вывалившиеся кишки. У порога землянки Гро он лег, и она держала его голову у себя на коленях, пока он не умер. Это был один из лучших охотников племени, красивый и веселый мужчина; Гро очень любила его и оплакивала целый день и целую ночь. Все Становище слышало горестный вой, доносившийся из-под земли, – Гро уползла в свою нору и выла там в потемках.

Горе Гро, как показалось другим охотникам, ей, по меньшей мере, не к лицу. И, хотя умерший был им добрым другом и хорошим товарищем на охоте, они, похоронив его, приняли все меры к тому, чтобы он не вздумал вернуться назад: набросали на его могилу целую гору камней! Он был прекрасный человек, но, когда потом глаза Гро милостиво остановятся на ком-нибудь, то... это уже будет не он; на него она никогда больше не глянет!

Насчет же того, кто был виновником и причиной несчастья, никто из мужчин не сомневался. Они не говорили об этом Гро – она была очень несообразительной и не способной даже к самым очевидным умозаключениям, да притом лично заинтересована в деле; но между собой они на все лады обсуждали событие. Ясно было, что наглая выходка Геста навлекла кару на все племя: как они в свое время справедливо предсказывали, лес был оскорблен и теперь мстил за себя.

А Гест исчез, и никто, кроме Гро, не знал, куда он отправился.

ТРИ НОРНЫ

С рождением Геста была связана одна тайна, которую Гро открыла ему наедине, перед его отъездом. Когда Гро оправилась после родов, то пожелала погадать о судьбе новорожденного и послала за норнами. Троице из мужей Гро пришлось в челнах отправиться за старухами в чужое становище, где-то на побережье. Колдуньи не имели постоянного местожительства, но кочевали из становища в становище, справляя свое важное, а подчас и страшное ремесло.

Они явились и оказались очень древними старухами; все три подпирались клюками и клевали носами от дряхлости; во рту ни у одной не было ни единого зуба, зато все три были с бородами; они кутались в старые звериные шкуры, которых не снимали с себя двадцать зим, и были весьма мудры. Гро хорошо приняла их в своей землянке, угостила, как могла, и вообще всячески постаралась их задобрить. Угощение состояло из устриц и других ракушек, очищенных и уложенных в горшок, – бери и глотай! – из свежей икры и кабаньей печенки, нарезанной тонкими ломтиками, – как раз в рот

взять. Для питья была подана ключевая вода с медом. Старухи остались довольны и угощались властью; языки у них развязались, и они рассказали много занимательных историй, которые припомнили под действием вкусной еды: истории из охотничьего быта и давних времен, минувших задолго до рождения самой Гро. Они припомнили, как сами рожали; припомнили и мужей своих, и приятные побои, перенесенные от пылких охотников, давно уже сгнивших в земле; дети их тоже все перемерли, и сами они стали бездомными норнами, но и теперь еще шамкали беззубыми ртами и чмокали губами от удовольствия при мысли о том, что тоже были когда-то людьми и взяли свою долю от радостей жизни. Испытаний было много, но что за беда! Увы, теперь они могут спокойно ходить одни по лесу – даже дикие звери воротят нос от старых колдуний. Да-а!

Когда они насытились, глаза у них засветились – в них зажегся вещей огонь, – и Гро, выпростав свой спинной мешок прямо на пол, показала им мальчика.

Старухи нашли ребенка очень крупным, ощупали его и одобрили его телосложение; открыли рот и пощупали также десны, уже твердые, – стало быть, жди ранних зубов; щупали поочередно, и двум все сошло благополучно, но, когда сунулась третья, мальчишка прикусил ей палец, и колдунья едва его высвободила. Матушка Гро была очень сконфужена этим и не преминула наказать мальчишку, в душе дивясь его храбрости. После этого норны перебрали все его члены, сравнивая и оценивая, обнаруживая всю глубину своего опыта, одобрительно кивая и перешептываясь друг с другом, – да, малец хоть куда!

Потом одна из них встала и принялась вещать – бормотать себе под нос и напевать страшную непонятную песню, от которой всех дрожь пробирала; но это было от доброго сердца – она заклинала злых духов и закончила предсказанием, что младенец, возмужав, будет очень счастлив в жизни и увидит больше, чем многие другие люди. Другая колдунья закивала головой в знак того, что вполне присоединяется к этому предсказанию, – она сама-де как раз собиралась сказать то же самое. Гро просияла от радости, ухватила парнишку за ноги и сунула обратно в мешок.

Но третья еще ничего не сказала, и, когда Гро вопросительно глянула на нее, старуха поджала губы так, что подбородок встретился с кончиком носа, и в глазах ее загорелся недобрый огонек. Это ее мальчишка укусил так некстати. Впрочем, она давно уже была не в духе, с самого начала, как только пришла, хотя и виду не подавала. Прежде всего Гро провинилась тем, что поставила одну только мягкую пищу, чем дала гостям почувствовать их беззубость. Кроме того, в самой Гро было что-то вызывающее и обидное для маленьких, тощих старушек, она ведь была такая крупная и жирная, что твой кит, и своими бесстыдными телесами влекла к себе всех мужчин – у них у всех такой грубый вкус! Да и оделась она для данного случая слишком нескромно: едва прикрылась летней, тонкой, соблазнительно прозрачной рогожкой. Прикрывать такую тканью ее телеса – все равно что прятать дельфина в сеть. И кроме того, она подчеркивала этим худобу и костлявость других женщин. Вокруг шеи она хвастливо обмотала ожерелье из бесчисленного количества медвежьих зубов, видно, по одному зубу от каждого из ее мужей! Об этом нетрудно было догадаться, да она и не скрывала этого ни от кого: когда две другие колдуньи по некоторым признакам в один голос решили, что парнишка будет любим женщинами, Гро засмеялась и откровенно пожелала ему такого же успеха у женщин, каким пользовалась она сама у мужчин. Подобная наглость хоть кого выведет из себя, и каково же слушать это одинокой старухе! Вдобавок ко всему Гро была гордячка – всякий, входивший в ее землянку, не мог этого не видеть, – Гро чисто-начисто подмела у себя пол, словно в насмешку над

теми, у кого дома narosло на аршин всякой грязи, объедков и костей.

Но хуже и обиднее всего было то, что Гро зажгла свет! Не как все добрые люди – не костер на полу и не корытце с жиром и горсточкой мха, а как настоящая гордьячка и расточительница. Она зажгла свечу, по-видимому, из сала с фитилем из тростника! Новомодная выдумка, презрение к старым добрым обычаям, не говоря уже о том, что такое яркое, почти дневное освещение не для всех присутствующих было выгодно и что дым и сумрак гораздо более необходимы для гаданья.

Все это совсем расстроило третью колдунью, и, когда Гро смело спросила ее, какую судьбу она предскажет ребенку, старуха встала и, направляясь к выходу, стукнула об пол клюкой, заклевала носом, откашлялась, чтобы прочистить горло, и наконец проквакала, моргая глазами от света, что она со своей стороны не смеет обещать парнишке долгой жизни: он проживет не дольше, чем прогорит свеча, зажженная над ним его матерью, и умрет, как только свеча погаснет.

Гро хотела зажать рот злой вещунье, но не успела; прорицание было сделано, и старуха была уже у порога. Но прежде, чем переступить его, она нагнулась и выплюнула на пол все угощение, затем опустилась на четвереньки и ползком, словно жаба, вылезла из норы. Гро схватила горшок с остатками еды и опрокинула ей на спину: если эта тварь не хочет унести угощение в своей утробе, пусть унесет его на своей заднице!.. Как расвирепевшая медведица, Гро обернулась затем к свече и задула ее!

Пир по случаю рождения закончился в темноте. Но жизнь Геста была спасена.

И перед его отъездом Гро дала ему огарок свечи, зашитый в мешочек из рыбьего пузыря, на тесемке из жилы, чтобы можно было повесить на шею, и просила сына никогда не расставаться с этим талисманом и не забывать его значение. Гест был очень благодарен матери за подарок. На этом они и расстались.

В ГОСТЯХ У БЕЛКИ

В самой глубине фьорда, на берегу которого родился Гест, находилось устье реки. Население Становища хорошо знало лишь нижнее ее течение, на расстоянии полдня пути; никто не решался подниматься дальше вверх, где река терялась в лесной чаще и протекала по неведомым землям. Туда-то и отправились Гест с Пиль в своем новом челне.

Сначала Гест хотел выйти из бухты в море и пробраться вдоль берега к чужим островам и в ту далекую огромную страну, о которой рассказывали старики, но мать отсоветовала ему. В тайной беседе перед его отъездом она предложила ему подняться вверх по реке в глубь страны и попытаться счастья сначала там; он мог ведь потом вернуться назад и вновь пуститься в более далекие странствия, если у него не пропадет к ним охота. Гро смерила его взглядом и, прищулив глаза, постаралась представить себе Пиль и сравнить их обоих по возрасту; затем посоветовала Гесту пробыть в отлучке два лета. С тем он и уехал.

Челн был длинный и прямой. Пиль гребла на своем конце не хуже Геста, и они продвигались вперед с изрядной скоростью. Выехали они очень рано утром, пока в Становище никто еще не просыпался, кроме матушки Гро, и к полудню уже прошли весь фьорд и знакомую им часть реки. Отсюда начинались совсем новые места, и беглецы могли считать себя в полной безопасности в смысле погони сзади; впереди же их, конечно, могли ожидать всякие напасти.

Почувствовав, что между ними и Становищем пролегло достаточное расстояние, и сделав вместе с рекою несколько поворотов, скрывших их след, они решили отдохнуть и закусить – то есть сначала

наловить рыбы. Гест вышел на берег накопать червей для удочек; рыбы они видели в реке много и за несколько минут наловили достаточно; червяк не успевал погрузиться в воду, как из глубины поднималась вверх целая стая темных рыб и кидалась на добычу; крючок прыгал во все стороны, леска натягивалась, уходя в глубину. Первые пойманные рыбы были широкие, с крупной чешуей и красными плавниками; Гест отправлял трепещущую рыбу прямо в рот и грыз зубами; рот наполнялся пресной водой и вкусным рыбным соком; он глотал с удовольствием; рыба так и скользила между губами, целиком входя в один угол рта и выходя из другого в виде обглоданного хребта. Долгая работа веслом прибавила ему аппетита!

Гест был доволен своими удочками; недаром он сделал крючки из рыбьих костей: рыбу надо ловить с помощью рыбы, да и само по себе забавно, что рыба давится собственной костью!

Пиль сидела на своем конце челна спиной к Гесту и ела мелкую рыбку, которую сама наловила. Девочка была уже настолько воспитана, чтобы не есть на виду. Ни одна из женщин Становища не позволяла себе этого; все они, конечно, перехватывали в течение дня по кусочку-другому, но всегда украдкой, никогда не присаживаясь за общую трапезу. Никто никогда не видел, например, чтобы матушка Гро ела.

Рыбы тут было вдоволь, и она билась, как бешеная, стремясь попасть на крючок. Гест с подругой скоро насытились, свернули свои лески и отправились дальше, освежившись несколькими пригоршнями пресной свежей воды.

Гребли они весь этот день и весь следующий, плывя по извилинам реки. Она текла им навстречу широким спокойным потоком; мимо мелькали чужие берега в тростниках, заслонявших вид. В узких местах, с более быстрым течением, водная поверхность слегка вспучивалась и волновалась, а в широких и глубоких заводях лежала гладким зеркалом; кое-где над глубиной кружились водовороты, слышалось журчанье и плескание струй, потихоньку подмывавших берега; у реки свои тайны, это всякий знает. Если челн, особенно быстро обогнув какой-нибудь мыс, вдруг выскакивал из-за поворота, то он непременно пугал какое-нибудь существо, которое мигом ныряло перед его носом в глубину, разводя большие круги на воде, – не то крупная рыба, не то выдра, а может быть, и морской зверь. Часто откуда-нибудь поблизости вспархивала цапля и летела, тяжело махая крыльями, изогнув шею и болтая ногами. Ласточки словно кувыркались в воздухе, на лету хватая мошек с поверхности воды; у берега слышались глухие всплески – это бултыхались в воду лягушки или водяные крысы; уж переплывал реку с берега на берег, подняв над водой голову с двумя желтыми пятнами на затылке. Стаи диких уток снимались с места задолго до приближения челна; лысуха пряталась в тростник или ныряла; в одном месте, где открывался вид на берег, путники увидели стадо ланей, прыгавших по траве и словно застывавших на миг в воздухе с поднятыми ногами. По обеим сторонам реки в отдалении вздымались лесные своды.

Как у самого своего устья, так и на дальнейшее расстояние вверх река извивалась между обширными моховыми болотами, порослями кустов и непроходимыми трясинами, но мало-помалу речная долина сузилась, леса по обоим берегам стали придвигаться ближе друг к другу, и местность приняла вид настоящей долины с луговинами, кустарниками и рекой посередине и сплошными стенами леса по краям.

На другой день Гест с Пиль забрались уже так далеко, что могли считать себя совсем затерявшимися в чужих краях, поглощенными тишиной и одиночеством дикой безлюдной местности; изгиб реки

подвел их к самому лесу; берег здесь был отлогий, и высокие деревья, росшие свободно и не слишком густо, подходили близко к воде. Место понравилось путникам. Солнце стояло уже довольно низко над долиной у них за спиной. Тростники расступались как раз у берега, образуя широкую бухту, так и манившую путников; у самого берега было совсем мелко, дно покрыто песком и галькой; многочисленные звериные следы на берегу указывали, что тут было место водопоя, и Гест решил высадиться тут. Они вытянули из воды челн, чтобы он не уплыл, и осмотрелись кругом. Перед ними стоял лес, они очутились с ним лицом к лицу и чувствовали, что надо познакомиться: что бы он ни таил в себе, им предстояло жить в нем и с ним. Они взялись за руки и медленно пошли между деревьями; лесная тень накрыла их, они слышали звуки своих собственных шагов; пусто, гулко и уединенно было вокруг.

В кустах что-то хрустнуло, они замерли на месте, вздрогнув всем телом, и насторожились, но ничего не было видно; только листва орешника в нескольких шагах подальше трепетала: верно, какой-нибудь зверек шмыгнул туда. Они переглянулись, кивнули друг другу и открыли было рот, но не нашли что сказать.

Осторожно и тихо ступая по земле, они исследовали окрестности. Лес был расположен на длинном покатом холме, вдававшемся в речную долину сбоку; с обеих сторон к нему примыкали луговые долины; великий неведомый лес как будто протягивал здесь руку реке. На пришельцев успокоительно подействовало осознание того, что этот участок леса открыт с трех сторон, и они решили пока остаться здесь.

В одной из боковых долин они нашли ручеек, который ниже впадал в реку. Следуя по течению ручейка, они дошли и до самого источника. Он находился в конце глубокой ложбины, прорытой ручьем и образовывавшей как бы вход в лес и в глубь страны.

Ключ бил между камнями и узловатыми корнями большого дерева, вокруг которого росли другие высокие деревья. Здесь был прохладный глубокий овражек с дном, усыпанным мелким белым песком, а в песке удивительная ямка, словно живая, похожая на рот, выдувающий из себя песок, взбалтывающий его языком, округляющийся, выплескивающий воду, то открываясь, то закрываясь совсем беззвучно; да и вода вытекала не только бесшумно, но и незаметно для глаз – такая она была прозрачная, – и только по движению песка в ямке можно было догадаться, что вода все время вытекает: песок вспучивало и взмывало светлой прозрачной влагой, которую рождала какая-то подземная сила и неустанно гнала из глубины вверх; ямка наливалась до краев, затем вода переливалась и текла дальше ручьем.

Высокие деревья охраняли величавый сумрак этого места, смыкая над ручьем свои густолиственные кроны, ведущие разговор с небом. Дальше лес сливался в темную массу; дерево за деревом, держась корнями за землю, возносили вершины к небу; воздушная стена дальних деревьев уходила во мрак, и оттуда веяло какою-то торжественной тайной. Но с другой стороны, в просветы между деревьями виднелись луга, залитые солнцем, прорезанные голубыми извивами зеркально-синей реки. Под сенью деревьев, там, где сумрак был всего гуще, и бил ключ...

Гест с Пиль, набравшись храбрости, наклонились к источнику. Он отразил в своем зеркале их лица, и, приняв это как знак приветствия, они прильнули устами к устам молчаливого поильца и стали большими глотками пить воду – напиток, приветливо поднесенный гостям новым миром, насыщенный живительными соками земли, чистый и прохладный.

Напившись, они омыли и освежили себе лица и встали, обновленные духом и телом. И оба рассмеялись, почувствовав, как всякий гнет слетел с них, развеянный словно чудом. Они как будто возродились; по всем жилам разливались свежие соки – так живительна была вода источника. И сразу после этого они почувствовали себя здесь как дома, почти забыли и свое Становище у бухты, и все прочее, оставленное позади, хотя и провели в пути всего два дня. Все прошлое стало каким-то нереальным, уступив место новой действительности. Вот какой силой обладала вода источника! Поэтому, напившись и освежившись, они решили, что должны как-нибудь отблагодарить источник. У Пиль не было ничего, кроме ожерелья из волчьих зубов, подаренного ей матерью как талисман от диких зверей; тяжело ей было расстаться с этим единственным своим достоянием, а в данную минуту и одеянием, но она решилась пожертвовать им и бросила в источник. Подарок был принят благосклонно и прочно лег на песчаное дно. Гест явился в новую страну таким же нагим, как Пиль; и на нем не было ничего, кроме талисмана с огарком, подаренного матерью; пожертвовать этим никак было нельзя. Но он пошарил у себя в густых кудрях и выудил оттуда длинное шило из кости, пощупал в других местах и вытащил вместе с клоками волос несколько рыболовных крючков, моток жил, несколько кремневых осколков и еще кое-какие необходимые предметы; все это он принес в жертву источнику, который благосклонно принял и эти дары. Теперь отношения с духом источника были налажены, и они чувствовали, что могут остаться около него, пока не подружатся также с лесом.

Здешний лес был выше и крупнее, чем знакомый им с детства, и был, по крайней мере, столь же грозен и недоступен. Пока, однако, не видно было, чтобы он относился к ним неприязненно, – он только долго бормотал что-то про себя, следуя привычке всех лесов и стариков; но ведь и они вовсе не собирались поступать бесцеремонно, задевать видимые и невидимые силы этого нового края. Гест провел свой челн вверх по ручью, насколько это было возможно, чтобы спрятать понадежнее. Под вечер они опять наловили в реке рыбы и вдоволь наелись форели; крупная рыба сама гнала прочь мелкую, чтобы схватить приманку.

Но после того, как они поели и присели на траву возле источника, оба задумались. Их занимали одни и те же мысли, хотя они и не говорили ничего друг другу, – оба вспоминали свой родной покинутый берег. Сырая рыба вкусна только на первый раз; во второй она уже кажется пресной, а здесь не сбегашь ведь с раковиной за морской водой, чтобы приправить еду солью.

Да, на родном берегу можно было целый день жевать, лишь была бы охота ходить да собирать устрицы. И какие устрицы-то! Крупные, жирные, сочные, соленые, с такой силой сжимавшие свои створки, что их приходилось разбивать камнем, положив на другой камень; только тогда можно было полакомиться самой устрицею. А ракушки, хрустевшие на зубах и брызгавшие соком из соленой воды! А улитки, которых можно было вылавливать терновой веткой, а сердцевидки и даже водоросли, пахучие, горько-соленые и все-таки вкусные!.. Гест вздохнул. Если вдобавок вспомнить о настоящих трапезах из горячих устриц, которые варятся на огне в собственном соку из соленой воды, причем раковины сами вскрываются от жара... о трапезах из аппетитно дымящихся устриц, в меру приправленных золой, то... Да, пожалуй, в сущности, было понятно, почему старики оставались сидеть на месте и не выражали желания удалиться от берега дальше, чем на расстояние в полдня пути!.. Да и костер... Гест невольно вздохнул.

Он поглядел на небо и на землю – конечно, у них нет огня; негде взять его и не к кому сбегать за

головешкой. Гест машинально протянул руку за двумя палочками, приставил их одну к другой и стал быстро-быстро вращать верхнюю, как мудрый старец на празднике солнцеворота, когда добывался • огонь. Но скоро он устал и пал духом, решив, что для получения огня нужна особая сила – дело вовсе не в этих кусочках дерева, а в колдовстве, в тайну которого он не посвящен; кроме того, наготове должна быть жертва – по меньшей мере, лань, чтобы предать ее огню; иначе, пожалуй, и сам не рад будешь, что вызовешь огонь! Гест бросил палочки и перестал ломать голову над непонятными ему вещами.

Его начинала пробирать дрожь; вечерело, в воздухе становилось прохладнее. Потом стало смеркаться, день сменялся ночью!

Оба падали духом, становились такими жалкими, не похожими на себя по мере того, как дело подвигалось к ночи. Ночью бывало страшно даже дома, в Становище, но там они могли вовремя спрятаться в надежное место, в одну из теплых землянок женщин, заползти в гнездо из звериных шкур, захватить в объятия пару щенят, которые так славно грели. А тут они одни, совсем беззащитные, без огня и без крова... перед лицом ночи!

Скоро обоим стало совсем не по себе; солнце зашло, из леса поползла тьма. В глубине леса уже давно было темно, и они не смели даже взглянуть туда. Отсвет зари лежал еще на лугах и на реке, и верхушки деревьев по другую сторону долины еще зеленели при слабом свете сумерек, но скоро и они угасли, и вся долина погрузилась во мрак. Всюду стало так тихо; небо и земля совсем изменились, все предметы один за другим теряли свой дневной облик и наливались тьмой; даже воздух переменялся, стал другим, земля дышала холодом, растения и камни покрылись каплями росы, словно слезами.

Умолкло последнее щебетание дневных птиц, сладко грустивших на вечерней заре; зато из невидимого мира стали доноситься звуки, наводившие жуть и тоску. Стая ворон кружилась в поднебесье с хриплым карканьем; потом они улетели, и без них стало еще тоскливее. В лесу протяжно-зловеще вопило какое-то неведомое существо.

Гест с Пиль притихли, сидя на траве между лесом и рекой, на том самом месте, где их застиг вечер; они уже не смели шевельнуться.

Что-то вдруг прогудело прямо над их головами; звук замер так же быстро, как появился, растаял в воздухе, как чей-то одинокий возглас, но они перепугались насмерть; каждый звук насквозь пронизал их до самого сердца леденящим ужасом; они больше не в силах были выдержать, бросились ничком на землю и, тщетно ища, куда бы спрятаться, зарыли свои лица в волосах друг друга.

Наступившая ночь была ужасна. Таинственная сущность леса, смутно чувствовавшаяся днем, все сильнее и сильнее давала себя знать во мраке. Земля, лес и небо сливались в одну чудовищную шершавую яму, наполненную предательскими шумами; звуки неведомых голосов сливались в один неумолчный, гудящий и рокочущий хор, который как будто доносился с болота; то тут, то там слышалось завыванье; шорох и шелест шел по лесу, кто-то фыркал, сопел и хохотал, чьи-то мохнатые крылья задевали за верхушки деревьев; и вдруг завыло какое-то сверхъестественное существо, наполняя ужасом весь окружающий мир; а где-то вдали, в сокровенных недрах леса, нарастал протяжный и пронзительный вопль, летевший в самое небо, падавший оттуда в глубокие ущелья, и, отражаясь от каменных стен, катился волнами по всему миру, – вопль предостережения,

дававший знать, что мир в лесу нарушен.

Все это пригибало двух детей человеческих к земле, заставляло их крепче прижиматься к ней и теснее жаться друг к другу, плотно зажмурив глаза; кровь стыла в их жилах, а лес продолжал шуметь и стонать; они забыли от страха, кто они и где, мрак и ужас наполняли их души, мрак и ужас были владыками всего окружающего мира.

Наконец, сами того не сознавая, они уснули и снова безотчетно проснулись; кругом была та же ночь, но от нее веяло безумием смерти. Под соседним кустом сверкали раскаленными угольями два глаза, шевелилась чья-то тень... С воплем вскочили они, и какие-то длинные тени метнулись в кусты... Тут произошло нечто страшное, до сих пор неслыханное в этом лесу: безумный вопль двух человеческих голосов пронзил воздух; они оба вопили, испускали протяжный дикий вой, пока хватало духу; голоса обрывались, но они начинали снова, сами не узнавая своих голосов, отчего иступление их еще увеличивалось, и они завывали раз от разу все громче, неистовее, страшнее.

Волки бросились во мрак, и долго, должно быть, у них в ушах звенело. Лес замер, прислушиваясь к дикому воплю. Все вокруг смолкло, ничто не шелохнулось; лишь где-то далеко-далеко замирало трепыханье уносящих кого-то крыльев да топот чьих-то убегающих ног. И когда вопли человеческие наконец прекратились – последний пронзительный визг, короткий вой и два-три отрывистых, глухих обиженных выкрика, – в лесу все еще стояла мертвая тишина: человек подал свой голос!

Но это были уже не люди, а два барахтавшихся на земле черных клубка; они встали на четвереньки, чтобы уползти куда-нибудь, скрыться, и дико озирались вокруг, но глаза их встречали один мрак; они выли и кусали друг друга со страха, а потом, зажмурившись, снова ползли в лес. Наконец они на ощупь добрались до деревьев, на ощупь же стали карабкаться на одно из них; не раскрывая глаз, они лезли по сучьям все выше и выше, пока не заметили, что ветви стали тоньше и гибче; тогда они остановились и задремали на ветвистом суку, одной рукой обняв друг друга, а другой охватив сук, и так провисели весь остаток ночи.

Отдохнуть они не отдохнули, но забылись в тяжелой дреме, потеряв представление о том, во сне все это или наяву, где они и кто такие. Им было холодно на дереве, и они дрожали с зажмуренными глазами всю долгую страшную ночь.

А ночь тянулась без конца, целую вечность; никогда ничего и не было, кроме этой ночи с ее ужасами и страданиями; никогда они и не спали иначе, как на жестком суку; полный зловещих лесных шорохов мрак вокруг них, мрак снаружи и ужас у них внутри; и во сне ли все это было, наяву ли – ничего, кроме мрака и ужаса, на свете не существовало. Они ослепли и застыли в черной бесконечности, налитой ужасом, а время не двигалось.

Но все на свете имеет конец. Они заметили, что ночь понемногу изменила свой облик. Лес затих, и, приоткрыв чуть-чуть веки, они увидели, что вокруг уже не так темно. На одной стороне неба сиял белый рог луны, а на другой алели облака; они поняли, что оттуда должно взойти солнце.

Скоро оно проглянуло между стволами деревьев, словно пылающий костер, и они ощутили тепло его лучей на своей коже. Лес скинул с себя зловещую ночную маску и снова стал просто скоплением деревьев, словно никогда и не был ничем иным; тихо защелкали птички в знак того, что природе снова дарован мир. В лесу стало тихо-тихо, и только птичий щебет становился все громче по мере того, как солнце подымалось и озаряло своим светом верхушки деревьев.

Тут обоими овладела такая усталость, что они заснули на своем суку, но тревожным сном, то и дело

просыпаясь в страхе, когда руки их разжимались, и они готовы были слететь вниз головой. Они еще плохо сознавали, кто они и где находятся, смотрели друг на друга мутными глазами и хотели только одного – спать, спать!..

Когда наконец совсем рассвело, они спустились вниз, почти оочеченев от холода, и, еще не совсем очнувшись, отправились искать выход из лесу, чтобы согреться и зевками выгнать из тела сонливую усталость. Был ясный день. Блнстающая рябь реки отражала небеса; разводя круги по воде, охотилась на залитых солнцем мошек форель; высокая трава клонилась к земле, отягощенная и омытая росой.

Из глубины долины, с той стороны, откуда брызнуло потоками ослепительных лучей солнце, доносился какой-то рев, могучие, словно трубные звуки, будившие в долине многоголосое эхо, отскакивая от стен леса и долго перекликаясь в боковых долинах. Не само ли солнце подает свой голос? Хотя до сих пор им никогда не приходилось слышать, чтобы солнце ревело!.. Море света разливалось над долиной и лесами, выявляя малейшую былинку, возрождая серые камни; весь мир расцветал милостью дня.

Солнечная дымка одела лес, и со всех сторон, из всех укромных уголков его неслоь томное, интимное воркованье – лесные голуби подавали свой голос. Между грудями камней змейкой извивался горностаи, облизывая освещенную солнцем остренькую мордочку.

На солнцепеке, где трава уже просохла, Гест с Пиль упали и заснули по-настоящему, почувствовав себя в безопасности. Солнце припекало им лица, но они спали, хотя сначала и не совсем спокойно, вскрикивая во сне, вздрагивая и просыпаясь с судорожным всхлипыванием. Взглянув друг на друга одичалыми глазами и признав, хоть не сразу, один другого, они вздыхали с облегчением и снова засыпали, уже покрепче; наконец дыханье их стало ровным и сон спокойным. С реки доносилось чмокание рыбьих ртов, в тростниках играли стрекозы, а в лесу все звонче и звонче заливались птичьи хоры.

Они отлично выспались и проснулись с легким духом, спокойно огляделись вокруг и снова признали и лес, и реку, и все прочее, включая самих себя. Ночь со всеми ужасами осталась позади, и они встретили новый день со всеми его благами.

Форель жадно клевала на удочку, и с такой же жадностью набрасывались на все съедобное, что им попадалось под руку, двое странников, еще сердитые спросонья, с горькими морщинками, проведенными вокруг их рта этой ужасной ночью; она чуть было не поглотила их, теперь они поглощали все, что могли отправить себе в рот, – и слизней, и улиток прямо с раковинками. Улитка так улитка, лягушонок так лягушонок – его и жевать не стоит, целиком можно глотать. От жадности они даже немного ссорились и ворчали друг на друга из-за лучших кусочков.

Но когда они поели и успокоились, то вернулись обратно к ручью напиться, и когда они подняли от воды свои мокрые лица, на них уже промелькнуло какое-то подобие улыбки. Рассматривая же свое отражение, они с удивлением убедились, что в воде видны не одни их лица, но и опрокинутое небо, и перевернутые кронами вниз деревья, и легкие облака, плавающие на такой глубине, что, глядя туда, приходилось держаться за камни, чтобы не упасть в бездну от головокружения: чудеса, да и только! Пиль пришла к ручью взлохмаченная, пряди волос лезли прямо на глаза; теперь она подвязала их, открыла лоб и украсила голову цветами. Гест стал искать глазами кремень – у него руки чесались от прилива рабочей силы.

Ночь вернула их к первобытному мраку, приобщила к бессловесным животным; день снова сделал их людьми.

Много было у них хлопот в этот день. Гест понимал, что нельзя проводить все ночи так, как эту первую ночь в лесу, и принялся устраивать на одном из деревьев настоящее гнездо.

Самую первую свою ночь в пути они провели очень уютно на реке, в своем челне. Они причалили к берегу, когда начало смеркаться, и уснули, не подозревая никакой опасности; сон их не был никем потревожен, они проспали всю ночь беспробудным сном до самого рассвета; но это могло удаться раз, повторять же было опасно. Ночевать на деревьях вернее.

Они выбрали себе для ночевки то самое дерево, у корней которого пробивался источник. Нелегко было взобраться на него: ствол был слишком толстый, чтобы обхватить его руками, а самые нижние сучья росли чересчур высоко от земли; но можно было перепрыгнуть на его крону с соседнего, более тонкого дерева. На одном из сучьев, между ветвями и стволом, нашелся укромный уголок высоко от земли; если огородить его обрубленными ветвями и заплести их прутьями, то выйдет удобное и безопасное гнездо.

Пока Гест лазал на дерево, обрубал ветви и устраивал гнездо, Пиль рвала траву и сушила на солнце, чтобы выстлать гнездо сеном.

На дереве уже гнездилась другой, более ранний жилец – белка, которая сначала не знала, как отнестись к Гесту, влезшему на дерево. Она усаживалась на соседнюю ветку с самым любопытствующим видом, распускала свой поднятый кверху пушистый хвост, наостряла ушки и быстро-быстро жевала губами. Ей не сиделось в своем тайнике, хотя она и чуяла, что показываться небезопасно; она перепрыгивала с ветки на ветку – все ближе, но стоило Гесту шевельнуться, как она удирала в самую чашу листвы на макушке дерева и громко кричала оттуда. Немного погодя она снова появлялась, садилась на задние лапки и умывалась передними; поблескивая глазками, вытягивая мордочку, пододвигалась еще ближе и в два-три прыжка удирала снова с громким криком. Гест хорошо знал этого маленького зверька, но никогда еще не видал его так близко, а зверек, видимо, был сильно заинтересован Гестом и только сомневался в причинах его посещения. Когда Гест принялся рубить верхние ветки, белка спряталась на самую макушку и оттуда сердито ворчала; Гест вовсе не хотел беспокоить зверька – кто его знает, какие у того были права на это дерево? Но ведь они с Пиль не собирались причинять зверьку вреда, поэтому Гест считал себя вправе оставаться на дереве. Впоследствии можно будет чем-нибудь отплатить зверьку за гостеприимство. Гест обрубил самые крупные ветви, какие сумел, и уложил их в углу, между суком и стволом, где было намечено гнездо, привязал их стеблями жимолости, а сверху, по примеру аиста, набросал мелких веток и прутьев. Удобное и безопасное ложе скоро было готово.

Начиная обрубать ветви с деревьев и рвать траву, стебли и прочую живую зелень, Гест не скрывал от себя, что дерзко посягает на достояние леса; поведение белки невольно заставляло быть настороже; она, пожалуй, знает про дела леса побольше, чем можно было думать, судя по ее росту! Следовало сразу как-нибудь умиловить, задобрить лес. И как только гнездо было готово и Гест спустился с дерева, он отправился в глубь леса – с видимой неохотой, повинувшись только необходимости установить с лесом дружеские взаимоотношения.

Он поднялся на поросший лесом холм, мысом выступавший из леса, спустился в долину по другую его сторону и перевалил через следующие возвышения. Лес сомкнулся за ним, и Гест очутился в

чаще обширного дремучего леса. Чувствуя себя всецело в его власти, он нерешительно шел вперед, все время ожидая встретиться лицом к лицу с таинственным духом леса. Встречи этой так и не произошло, хотя близость хозяина леса ясно чувствовалась.

Пройдя порядочное расстояние, Гест вышел на лесную полянку, на которой одиноко рос огромный могучий дуб. Сразу видно было, что это дерево непростое – старое, могучее, с чудовищно толстым стволом, длинными узловатыми сучьями и густой раскидистой шапкой – не шапка, а настоящий лес. По соседству росло несколько деревьев поменьше, странно черных и причудливо искривленных, словно ползущих по земле, до жути напоминающих живые существа с глазами на стволах и кривыми членами. Они внушали Гесту страх, большого же старого дерева он не испугался нисколько. Из его огромной ветвистой и густолиственной шапки выглядывали зеленые малютки-желуди. Дерево было на редкость плодовитое, богатое потомством, несомненно самое могучее дерево во всем лесу. Подойдя к дубу вплотную, Гест увидел, что ствол его с дуплом, и, повинуясь внезапному наитию, опустил в это дупло свой лучший кремневый нож, полуготовый топор из красного кремня и пять отличных рыболовных крючков. Ему казалось самым подходящим подарить лесу как раз такие острые орудия, какие он сам пускал в ход, работая в лесу; отныне, стало быть, он может спокойно брать себе в лесу все, что ему понадобится. Последний отрезок обратного пути он, однако, пробежал бегом: не очень-то приятно иметь лес за спиной, особенно если идешь один; и он вздохнул свободно только тогда, когда выбрался снова на простор.

Покончив с этим щекотливым делом, Гест успокоился и принялся охотками таскать в гнездо траву и листву. Он устроил там наверху настоящий маленький островок, плавающий между небом и землей. Из гнезда видно было далеко вокруг: с одной стороны взору открывалась вся долина с извивавшейся посередине рекой, впадавшей в голубой фьорд, откуда они приехали, а за фьордом сияло безбрежное море, сливавшееся с туманной далью. С другой стороны уходил в глубь страны лес, образуя сплошную волнообразную крышу с куполами древесных крон; всего леса было не окинуть глазом, так он был велик. Вдали, на самом краю горизонта, он вздымался к небу дугой, и на самом гребне ее, между стволами, был просвет, через который виднелось небо – далекие голубые ворота с косыми воздушными столбами, опиравшимися на облака и вздымавшимися к солнцу. Гесту с Пиль казалось, что эти ворота ведут к далекому белому свету, куда и они когда-нибудь попадут.

Окончательно обустроив свое гнездо на дереве, они сели в челн и проплыли порядочное расстояние вверх по реке, чтобы хорошенько познакомиться с долиной. Она уходила далеко в глубь страны, и в тот день они не увидели ее конца. Много нового встретилось им на пути; они пугали разных животных и птиц, никогда ими прежде не виданных, и ближе познакомились с самой рекой. Она была богата рыбой, которая так и сверкала чешуей, всплывая на поверхность; более крупные рыбы держались в глубине, а ближе к поверхности сновали стаи колюшек. В мелкой воде, на плоском дне, стерегла добычу прямая и неподвижная, как палка, полосатая щука с безобразной нижней челюстью, и скрывалась в облаке ила и мути, как только к ней приближались.

Между стеблями кувшинок, в бурой нагретой солнцем тине, извивался угорь. Под самым берегом в маленьких, но глубоких норках прятались раки, которых нетрудно было вылавливать оттуда и которые приятно хрустели на зубах, внося разнообразие в рыбный стол. Гест с Пиль пробовали на вкус, без разбора, и все им нравилось, как и свежий илистый запах воды и острый аромат с берегов – смесь запахов мокрых водорослей, мяты и аира. Луговые травы низко свешивались над самой рекой

и роняли свои семена в воду; сами луга были сплошь усеяны душистыми цветами и травами, вокруг которых тучами вились пчелы; медовый туман, куда ни взгляни; в ивняке и болотных кустарниках кишмя кишели птицы; здесь они были в безопасности со своими гнездами и птенцами.

День выдался жаркий, солнце так и палило, стоя отвесно над узким челном, выжимая смолу из его деревянного остова. К аромату смолы примешивался острый и свежий запах рыбы, лежавшей на дне лодки; от волос, опаленных солнцем, пахло гарью; так и тянуло окунуться в свежую воду. И Гест с Пиль принялись нырять в прохладную глубину; вода давила на все члены тела, выпирая его наверх, набиралась в рот; во всем теле ощущалась свежесть; освежился и дух. Как добра река! Потом оба принялись сушиться и жариться на солнце, обжигая себе спину, а голову прикрывая прохладными листьями кувшинок. Неподалеку каталась по прибрежной траве выдра, и, набрав полную шкурку сухих былинки и цветочной пыли; она влажным и важным оком оглядела двух незнакомцев, чихнула и червячком уползла в реку.

На берегу одной бухты они увидели дикую свинью, лениво развалившуюся на куче ила с целым выводком поросят; лежа на боку, она проводила пловцов умным взглядом налитых кровью глазок, но не сдвинулась с места. Речной орлан камнем падал на воду, вспенивал ее и снова взлетал вверх, крепко держа в когтях обеих лап лосося.

Весь день ушел на исследование реки. Вернулись они назад все-таки до наступления вечера и успели засветло устроиться на покой в своем мягком и теплом гнезде, усталые, сытые и довольные во всех отношениях. Они глубоко зарылись в сено, особенно старательно пряча голову, ради пущей безопасности.

Уснули они на своем воздушном ложе спокойно, незаметно убаюканные легким покачиванием дерева, в его мощных объятиях, в меру согреты и в меру охлаждаемые, под одеялом из свежего сена. В глубоком и спокойном сне они перенесли в иной, воздушный, зыбкий мир, витали, качались, парили в бесконечных теплых и прохладных потоках. Высоко над их головами, на самой макушке дерева, сторожил их покой маленький лесной дух.

Белочка устроила себе гнездо под небесами, на самых тонких ветвях, которые едва сдерживали ее с гнездом и были недоступны для всякой другой, более тяжеловесной твари. Там белочка сплела себе над старым вороньим гнездом летнюю беседку из веток, листьев и сухих былинки, оставила маленькую дверку для входа, выстлала гнездо мхом, и вышло уютное жилье, где она спала ночью, но так чутко, что не пропускала мимо своих мохнатых ушей ни малейшего шороха или писка и всегда вовремя просыпалась. Вначале ее несколько беспокоило соседство этих смешных бесхвостых, голых, красных и во всех отношениях уродливых и неуклюжих тварей, вздумавших поселиться на ее дереве, но, с другой стороны, она никак не могла побороть свое любопытство. Теперь они, как видно, прочно осели здесь; время покажет, чего ей ждать от них. В сущности, белке не впервые приходилось жить на дереве вместе с человеком; она не сохранила об этом никаких воспоминаний, но инстинктивно чувала в этих двух что-то знакомое.

Двое беззащитных детей человеческих снова вернулись к жизни на деревьях, и белка приняла их, как принимают дальних родственников – сдержанно, но приветливо, и они быстро поладили между собой. Для них было выгодно уже одно присутствие белки на дереве, но и они для нее кое-что значили. Со времени их поселения на дереве ни куница, ни дикая кошка не отваживались забираться на него; хищные птицы тоже перестали грозить белке сверху, побаиваясь новых жильцов. Как-то

ночью к ним пожаловала в гости рысь, но тогда белка пришла в такое неистовство и подняла такой переполох, что Гест успел проснуться как раз вовремя, чтобы увидеть прямо над собой пару сверкающих в темноте зеленых глаз и всадить между ними лезвие своего кремневого топора. Рысь фыркнула и шлепнулась с дерева вниз головой; больше она не приходила.

С течением времени они даже подружились: белка стала так доверчива, что брала угощение у них прямо из рук. Приятно было смотреть, как она лакомялась: садилась на задние лапки, передними ловко хватала угощение, быстро вертела его в лапках, оглядывая со всех сторон, откусывала кусочек и начинала так проворно жевать губами и зубами, что невозможно было уследить; распускала свой хвост, снова откусывала и снова жевала или грызла. Ее длинные и острые резцы ловко справлялись с поживой, грызли орехи или желуди так, что шелуха летела стружками во все стороны. Гест с восхищением любовался работой маленького зверька и завидовал его четырем передним резцам: вот бы и ему такие орудия! Если белка была сыта и не хотела есть в ту минуту, то забавно прятала лакомство куда попало – в трещину на коре дерева или в свое гнездо; иногда же, напротив, доставала спрятанное раньше: спрыгнув со своего дерева, она принималась усердно рыть землю у корней соседнего дерева, где не было видно никаких следов, и, глядишь, вдруг вытаскивала оттуда старый сгнивший орех, который прятала там, пожалуй, несколько месяцев тому назад и о котором только сейчас вспомнила. Не мешало поучиться у нее прятать про запас! Пиль и брала пример с белки. Девочка любила хлопотливого лесного духа и не скупилась на подачки, чтобы подманить его поближе и хоть погладить по мягкой шерстке, ощутить тепло его маленького тельца, – взять его в руки нечего было и думать, такой он был увертливый и чуткий: удирал прочь от малейшего прикосновения, предпочитая держаться повыше, в пределах видимости, но вне пределов досягаемости, как и подобает лесному духу.

Маленькая белка была очень сильная, что обнаруживалось, когда у нее появлялось желание полетать. Не то по делу, не то просто играя, без всякой видимой причины, она с неуловимой быстротой совершала, подобно птице, дерзкие дугообразные перелеты с одного дерева на другое; с быстротой пламени перебежала она по самым тонким веткам, а если расстояние до следующего дерева было слишком велико, мигом спускалась на землю, прыгала по траве красной змейкой с задраным кверху пушистым хвостом, в мгновение ока снова вскарабкивалась по отвесному стволу на дерево и скакала с ветки на ветку; еще минута, глядь – и след ее простыл в лесу!

Соблазнительно было последовать ее примеру. Заразившись от нее страстью к полетам, Гест с Пиль пытались пускаться за ней вдогонку и с трудом перебирались с дерева на дерево, если их ветви достаточно близко соприкасались. Жалкие подобия белки, они были слишком тяжелы, медлительны и осторожны; им не по силам было летать по деревьям! Но легкое головокружение и трудности при перепрыгивании с дерева на дерево над землей имели для них особую прелесть, и они не могли противостоять соблазну; словно во сне, созерцали они с высоты деревьев мир, принимавший воздушные, обманчивые очертания; в этом было для них что-то новое, а с другой стороны, смутно вспоминалось и что-то старое; и лазая, и прыгая по деревьям, они пьянели от переживаний, забывали все остальное, кроме леса, солнца и вечного лета.

Таким путем они понемногу стали проникать в глубь леса. Во время своих прогулок, которые они все удлиняли и удлиняли, в случае беды или опасности они в любую минуту могли найти спасение на деревьях. Расстояния они считали по земле, но все свои наблюдения делали сверху, притаившись

в листве. Белка стала их проводником, научила путешествовать по лесу, и они скоро изучили лес на много миль в окружности.

Над своим гнездом они, по примеру белки, устроили навес из хвороста, прикрытого листьями; они отлично могли прятаться в своем гнезде, так как его почти невозможно было различить снизу, и спастись в нем от дождя и бури и от всех ужасов тьмы; их убаюкивали там шум деревьев и разговоры леса с самим собой.

Они носили теперь рогожки, сплетенные из лыка умелыми руками Пиль; сначала одеяние стесняло их, в особенности днем, но вечером и утром оказывалось очень кстати. Пиль полюбила наряжаться, украшать себя то разными цветами, в изобилии росшими в лесу и на болоте, то перьями, оброненными птицами; она втыкала их себе в волосы; кроме того, для красоты она мазалась охрой, которой было много в родниковой воде, да и Гест не отставал от Пиль и тоже иногда украшал свое лицо двумя-тремя сочными красными мазками. Оба они никогда не бездельничали, всякое время дня имело свои заботы и развлечения – хотя бы в виде собирания чашечек некоторых цветов и высасывания из них капелек меда. Они разыскивали на лугах пчелиные ульи, высасывали из сотов мед через соломинку и клали их назад в улей, а потом снова приходили за угощением, дав пчелам время накопить новый запас.

Но если их не отвлекали мелкие заботы, они охотно пускались в скитания по деревьям и пропадали в лесу целыми днями, забывая даже поесть. Понемногу они познакомились с большинством живых обитателей леса. Стоило им только забраться на дерево и тихо посидеть некоторое время, как лес вокруг них успокаивался и в нем начиналась обычная повседневная возня, словно людей тут и не было вовсе. Они видели бродившего внизу под деревьями оленя, с длинной, округлой спиной; он брел не торопясь, почесываясь о стволы деревьев и слизывая языком листья. Особым живительным теплом веяло от этого крупного и здорового зверя; у Геста с Пиль даже слезы выступали, так вкусно от него пахло.

Но стоило только вспугнуть оленя неосторожным движением или шепотом, как он обращался в бегство, ломая попадавшиеся на пути кустарники, и не успевали Гест с Пиль оглянуться, как уже спина его мелькала где-то вдали; высокими, легкими прыжками мчался он между деревьями, сам неся на голове своей целое дерево. Не могло быть никакого сомнения насчет того, откуда брались олени, – это были духи леса, рожденные им: дети даже сами не раз видали, как эти духи появлялись: сначала из кустов вырастали и шевелились между другими ветвями одни рога, потом вдруг выскакивал весь олень, большой и быстрый, как ветер, с остатком ветвей на голове! Какие они были красивые и рогатые, эти олени! В них текла кровь дуба, их рога были ветвисты, как дубовые сучья, и сами они были так же многочисленны в лесу, как многочисленны и могущественны были дубы, – олени и дубы были главными в лесу.

А глубоко в долине, на границе между лесами, луговинами и дикими болотами, Гест и его подруга познакомились с зубрами, незаметно наблюдая за ними с дерева и дивясь их величине и мощи. Зубры стояли или лежали между крупными валунами, всюду торчавшими из лесной почвы на косогоре, где росли по преимуществу огромные сосны с шершавыми красными стволами, можжевельник, вереск и голубика; старый бор, сползавший с холма по косогору, переходившему у реки в болотистые заросли, – любимое пастбище зубров. В полдень они отдыхали, большинство жевало жвачку, задумчиво отмахиваясь хвостами от мух; слышно было, как скрежетали их зубы.

Даже вблизи трудно было различить, где, собственно, зубры и где камни; иногда вдруг серая гранитная глыба поднималась с земли и превращалась в рогатого зверя – кто знает, не сама ли земля рождала их из своей каменистой утробы? У них были длинные, круглые, изогнутые рога, напоминавшие полумесяц; как знать, быть может, и по небу бродил рогатый зубр? Впервые услышав в лесу мычанье зубров, Гест с Пиль сразу узнали тот рев, который поразил их здесь на восходе солнца в первое же утро и который они приняли за голос самого солнца. Впрочем, ничто ведь не мешало и солнцу быть зубром, и, как бы там ни было, зубры были так могучи, что двое детей человеческих боялись шелохнуться на своем дереве.

От зубров пахло так же хорошо, как от оленей, только еще слаще; от этих огромных животных издали шел теплый дух и пахло молоком; в воздухе стоял густой пар от их дыхания, распространявшего запах сочных трав; они тяжело пыхтели и раздували бока, будя эхо в лесу. Деревья пахли разогретой на солнце смолой; от камней несло сыростью и плесенью; самая утроба земная источала крепкий сочный запах; уютно, тепло и привольно было на пастбище зубров. Подле маток держались, обмахиваясь коротенькими хвостиками, телята – маленькие бычки с хрящевой мордой, с чуть пробивающимися на лбу рожками и с лепешечками из навоза и тины, присохшими к задним ногам, где у старых зубров насохли целые лепехи. Трудно бывало спокойно усидеть на дереве, так и подмывало окликнуть милых теляток и попытаться приласкать их!

Дикие кабаны – совсем другое дело. Они, без сомнения, рождались из тины самых непроходимых болот: недаром они всегда черны от грязи и вечно роются в черноземе, постоянно бродят в чаще, тыкаясь рылом в рыхлую, удобренную листопадом лесную почву, и громко хрюкают, набив рот землей, окруженные стаями полосатых визгливых поросят. Старый горбатый кабан с длинной колючей щетиной на загривке и блестящими белыми клыками, торчащими изо рта, словно кривые ножи, – настоящее страшилище. Эти ножи очень соблазняли Геста. Вот заполучить бы их! Для кабана они чересчур хороши.

Нельзя сказать, чтобы запах от этой хрюкающей семейки был очень приятен, – прямо хоть нос зажимай; и потому, когда стадо проходило под деревом, где сидели Гест с Пиль, они, собравшись с духом, выпускали дружный вопль и с восторгом наблюдали за результатом. Сначала свиньи останавливались как вкопанные, стараясь разглядеть своими красными злющими глазками, кто и зачем издал этот страшный крик сверху, но потом все разом обращались в бегство, очертя голову и так тесно сбиваясь в кучу, что некоторых совсем выпирало из стада чуть ли не на спину другим.

Поросята старались не отставать и с пронзительным визгом скакали сзади, подбодряемые глухим хрюканьем старших; все это было так смешно, что можно было свалиться с дерева от смеха.

Однажды в гостях у детей побывал сам волк. Он прибежал среди бела дня из глубины леса – длинный, тощий и усталый. Увидав людей на суку, он сразу остановился под деревом, подняв переднюю лапу и делая вид, что явился сюда именно ради них. Он привстал на цыпочки и разгладил щетину; взгляд у него был такой ясный, морда такая добродушная, что Гест с Пиль готовы были раскаться в своем несправедливом отношении к нему. Они ведь никогда не видали волка вблизи и, может быть, составили себе совсем неверное представление о его нраве. Если с ним подружиться, то можно будет, пожалуй, играть с ним, как с собакой, а им как раз не хватало собаки. Он поразительно похож на собаку!

Но как ни велик был соблазн спуститься и завязать дружбу со зверем, они все-таки остались сидеть

на дереве. Пусть волк сам взберется к ним, если у него, правда, нет дурного умысла. А серый продолжал бродить под деревом, словно в задумчивости, облизывая свою тощую морду; его раздумье продолжалось слишком долго, и дети, соскучась, принялись развлекаться, бросая в него обломками ветвей и прутьев. Он сверкнул желтыми глазами и притворился веселым: стал хватать зубами брошенные ветки, делал вид, что не прочь поиграть, как щенок, даром что был старый, костлявый, опытный хищник; он по-детски скакал, играл лапами, притворялся растроганным, пытался ласково тявкать, весело кривил свои тонкие губы и так старался понравиться, что детям нестерпимо захотелось слезть вниз и погладить игривого щенка; они переглядывались, ерзали взад и вперед по суку и были в нерешимости.

А искуситель внизу играл еще соблазнительнее, вприпрыжку отбегал к лесу, потом оборачивался к ним, как бы маня их за собою; одно только казалось детям странным – что от волка пахло так скверно, наперекор его сладким ужимкам; пахло падалью, и сам волк был такой тощий, что все ребра торчали наружу. Нет, вряд ли стоило спускаться вниз к нему, и они остались на месте.

Когда волк убедился в тщетности своих ожиданий, он сбросил маску и громко зевнул с досады, обнажив четыре длинных клыка; голод и смерть свирепо глядели из его глаз. Потом он присел на свой хвост и завыл зловеще-озлобленно и в то же время плаксиво, поднял заднюю ногу у самого дерева, отряхнул прах со своих ног и побежал дальше – длинный, тощий, свесив хвост и ни разу не оглянувшись.

Сидевшие на дереве переглянулись и побледнели; они поняли, что среди бела дня у них побывала сама ночь. Подобный же вой раздавался в лесу каждую ночь; так вот в чем дело! Они-то думали, что это лес с его сверхъестественными силами, а это всего-навсего старый, голодный, обманутый в своих надеждах пожиратель падали! Теперь они стали умнее. Гест долго смотрел вслед волку, пока тот не исчез в лесу. Будь у него сейчас лук и стрелы!..

Может быть, ему удалось бы пристрелить старого коварного бродягу и подарить Пиль новое ожерелье из волчьих зубов вместо пожертвованного ею источнику. Без сомнения, волк потому и был так дерзок, что у нее не было на шее этого талисмана.

На следующий день Гест засел в своей мастерской подле большого камня у ручья. Оттуда слышится неясный звон кремня; он занят тонкой работой – обтачивает наконечники для стрел, для чего приходится сначала раскалывать поперек подходящие осколки, и, прежде чем удастся добиться желаемого, он набивает кучу щебня. Гест задумал сделать себе лук и стрелы. Он побывал уже в молодом осиннике и теперь раздумывает, где взять тетиву, да вспоминает, где он поблизости видел заросли тростника.

Гест видит перед собой будущий лук и принимается обрабатывать дерево острым кремнем; стройный осиновый побег надо сгибать осторожно, чтобы лук вышел одинаково гибким с обоих концов, где предстоит сделать зарубки для тетивы. Мальчику не терпится завершить задуманное, и он работает, как одержимый; еще не закончив деревянного остова, он принимается за тетиву и представляет себе будущие стрелы; больше он ничего не видит и не слышит кругом.

Пиль как раз занята плетеньем – пусть же она даст Гесту лыка для тетивы! Когда лук натянут, он зовет ее и пробует тетиву пальцем, извлекая из нее первые певучие звуки и улыбаясь с гордостью изобретателя – хорошо поет его лук? Рядом лежит связка тростника, принесенная им с берега реки; стебли очищены и приготовлены – из них выйдут отличные стрелы.

День прошел. Пиль усердно занималась плетеньем, оживленным шепотом беседуя сама с собою и постоянно встряхивая головой, чтобы откинуть со лба волосы. Наконец, она пошла посмотреть, что делает Гест, и нашла его мрачным и необщительным, совсем другим, чем до этого, – случилось несчастье: в первый же раз, как он с силой рванул тетиву к себе и затем отпустил ее, она с треском лопнула. Конечно, лыко не годится; может быть, сделать тетиву потолще? Но тогда она потеряет гибкость и не будет звучать. А лук без звука все равно что без души. Гест отлично знает, что тетива делается из кишок, потому что раз оружие рассчитано на то, чтобы выпускать кишки, то и на выделку его нужны кишки, но тут он попадал в заколдованный круг – как же добыть кишки прежде, чем у него будет оружие?..

Пока он решил обойтись тетивой из волос, и так как волосы Пиль длиннее, то ей и приходится пожертвовать своими; она ложится головой на камень и покорно ждет, пока он отрежет острым камешком нужное ему количество волос; потом она помогает ему свить тетиву. Тетива выходит довольно прочной и хорошо звучит. То, что она сделана из человеческих волос, придает ей особые свойства: берегитесь, люди! Но, разумеется, такая тетива чревата опасностями и для всех волосатых тварей.

Когда лук был готов, Гест присел и сыграл на нем песню для Пиль. Она звучала чудесно; однообразно, но чудесно, и он долго щипал тетиву, а Пиль прислушивалась с наслаждением. Это была первая арфа Геста. Впоследствии Гест станет скальдом.

Но пока он хотел быть только охотником. Свою первую стрелу он направил прямо вверх; она змеей взвилась под небеса, выше самого высокого дерева и, оглядев небесную лазурь, упала назад на землю, вонзилась в дерн кремневым наконечником на целый палец вглубь и осталась торчать в земле; там Гест и нашел ее после некоторых поисков.

Мир с птицами был нарушен в тот же день. Со временем Гест стал метким стрелком. Сначала лук был коротковат, да и стрелы были из тростника; но лук рос вместе с охотником, и тростниковые стрелы скоро сменились деревянными, более длинными и прочными. Гест никак не мог остановиться и с каждым разом все совершенствовал свой лук; рос он сам, росло и его оружие, становясь все длиннее и опаснее. Скоро лук Геста перестал быть игрушкой с тоненьким невинным голоском – в лесу хорошо узнали его свирепую песню.

СТАРЫЙ ДАТСКИЙ ЛЕС

С каждым днем Гест с Пиль все больше набирались ума-разума; постепенно они научились различать все лесные звуки и голоса – чьи они и откуда. Гест старательно откладывал в своей памяти приобретаемые сведения о новом мире, который он как охотник собирался покорить.

Пришло время, когда он, сидя на своем дереве у родника, мог по звукам, доносившимся из лесу в разное время дня, точно определять, что и где творится: где ходит дичь, по каким полянам и долинам, и каково ей там.

Лето понемногу стало склоняться к осени, но Гест с подругой не чувствовали иной перемены, кроме той, что лес предлагал им на выбор все больше и больше разнообразной растительной пищи. Их трапезы состояли уже не из одной сырой рыбы; они обильно питались лесными плодами, не нуждаясь в животной пище. Лесные орехи стали наливаясь; зернышки были такие мягкие, молочно-сочные. И прохладным утром Гест с Пиль часто забирались завтракать в орешник, где не продувало ветром; шершавые листья хлестали их по лицу; они забирались в самую чашу и там встречали свою

рыжую приятельницу-белку, усердно собиравшую новый урожай.

На болотах и на сырых лесных полянках появилась масса черники и брусники, нередко там можно встретить и медведя на задних лапах, передними он собирал с кустов ягоды. Если человечки ведут себя смирно и держатся на почтительном расстоянии от старого ворчуна, он не мешает им лакомиться с соседних кустов. У медведя они потом научились находить дуплистые деревья, где водились пчелы и накапливались медовые запасы. Дупла оказывались сверху донизу набитыми желтыми медовыми сотами; мед, вытекший из них на дно дупла, делается от старости черным и терпким, как смола. Но и с медведем мир оказался непродолжительным, так как Гест мало-помалу становился заправским охотником.

Лес был полон малины, земляники, ежевики; дикая яблоня роняла на землю свои плоды, к большому удовольствию диких свиней и двух детей человеческих. Кабан, не переставая жевать, смеривал их взглядом, но не трогал, пока они его не трогали. Там, где дикая свинья со своими поросятами рылом взрыхлила землю, они подбирали остатки корешков, проросшие желуди, луковицы и прочие вкусные вещи. Глядя на птиц, они пробовали всевозможные семена, ягоды рябины, боярышника; по примеру оленей они щипали росистую траву и молодые побеги, отдававшие пропеченной солнцем смолой. Так сживались они с лесными животными и брали свою долю лесных даров с той лишь разницей, что не придерживались, как звери, какой-нибудь однообразной пищи, но пробовали всего понемножку. Звери поделили между собой лес по взаимному молчаливому соглашению; одни питались за счет других и жирели на пользу третьих, но все жили и плодились, были довольны разделом, хотя большей частью старательно избегали встречи друг с другом. Теперь они приняли в свою среду пару двуногих, первое время недоверчиво присматривались к ним, а потом равнодушно предоставили их самим себе; такое положение вещей длилось, впрочем, недолго.

В лесу один день похож на другой. На утренней заре, когда хищники вроде волка, лисы и рыси попрячутся по своим норам, на опушку и на поляны осторожно выходят олени и принимаются щипать нежную, сочную травку, несмело озираясь, осторожно поводя ушами, готовые ежеминутно броситься наутек. Набив утробу влажной зеленью, которую они наспех глотали целиком, они удаляются в свои укромные уголки в чаще леса, где весь день спокойно пережевывают свою жвачку. Зубры вылезают из своих болот и вереницей тянутся по исстари проторенным в лесу звериным тропам; выйдя на простор, они разбредаются по долине и пасутся, полускрытые высокой травой, медленно переступая с ноги на ногу и обмахиваясь хвостом; часто на спины огромных животных садятся скворцы в поисках личинок слепней. Солнце все выше подымается по небу. Какая тишь в долине и в лесу!..

Какая тишь в долине... Никого, кроме пасущихся животных. Слышится только мерное, глухое жеванье челюстей и пыхтенье объемистых утроб... Крупные деревья на опушке растут из болотистой почвы, удобренной сгнившим валежником, хворостом и ползучими растениями, и высоко вздымают к солнцу свои пышные свободные кроны. В траве глухо гудят пчелы; луга сплошь в цветах; их целые тучи – синих, желтых, красных – несметные полчища, и в каждом венчике – по пчеле. Неумолчное гуденье, чмоканье и жеванье стоит в лесу; жара, безветрие; тени медленно меняют свои места, день идет на убыль. На зеленом дерне как будто сам собою вырастает черный бугорок свежей земли; это крот, роясь в земле, мерно выбрасывает ее наверх.

Каждое животное занято своим делом; большинство молча, и все идет хорошо, пока они молчат.

Дикая свинья чавкает у терновых корней и сливовых кустов, образующих такие густые заросли, что никто, кроме свиней да ежей, не может продраться сквозь чащу. Гест с Пиль тоже сидят где-нибудь в малиннике или на дереве и тоже молчат; они никогда не разговаривают громко в лесу, потому что всякое громкое слово тотчас подхватывается и многократно повторяется хором лесных духов, которые словно Дразнятся на все лады; уж лучше помалкивать в лесу!

Над верхушками деревьев парит сарыч-мышелов, а еще выше, в самой лазури, летают аисты, ослепительно белые на фоне головокружительно высоких облаков; они стремительно описывают спиральные круги, не шевеля крыльями, словно одной силою своей воли ввинчиваясь в эфир.

В полдень лес совсем затихает, слышно только жужжанье мух да гуденье пчел. В густой тени, у подножья дуба, прилегла лань, заметно лишь ее чуткое ухо. Горлинки смолкли, утки плавают в камышах, спрятав голову под крыло. В дупле гнилого дерева сидит сова и спит, уставившись слепыми, густо оперенными глазами на дневной месяц.

Но под вечер, когда становится прохладнее, лес оживает; по звериным тропам семят, шаркают и шелестят четвероногие, пробираясь на водопой к реке, к излюбленным местам, куда звери привыкли ходить уже столетиями. По дороге не обходится без игр и прыжков; хочется закончить длинный день хоть несколькими минутами беззаботного веселья до наступления чреватой опасностями ночи. Под высокими деревьями на траве, куда по вечерам падают лучи вечерней зари, окрашивая стволы в алый цвет, прыгают и резвятся около глухо урчащих маток оленята. Лисята приветствуют заход солнца из своих неприступных логовищ, на островках, среди болот и трясин, они кувыркаются у входа в свою нору, а мать-лиса с умилением глядит на их игры, обгладывая гусиное крылышко.

Птицы поют вечером совсем по-другому, чем днем, – они забираются на самые высокие ветви деревьев, еще озаряемые светом заходящего солнца, когда внизу уже наступили сумерки, и провожают солнце из лесу нежным, тихим свистом.

Но вот солнце зашло. Во мраке, откуда-то издалека, из-за леса, слышится протяжный, одинокий и мрачный вой; он несется как будто со всех четырех сторон сразу и будит зло во всех концах леса, словно хор проклятых лесных духов; он раздается на весь мир, сливаясь с мраком, воет на зажигающиеся в небе холодные звезды. Это волки возвещают приход ночи. Мир в лесу нарушен. Однажды ночью в долину забежал старый, тощий волк, отбившийся от стаи и промышлявший добычу в одиночестве. Прихрамывая, он бесшумно спустился к реке по одной из боковых долин, увлекаемый смутным воспоминанием о двух розовых подростках, которые живут где-то в этих местах и на вкусно пахнувшие следы которых он все время натыкался по мере приближения к реке. Он был голоден, страшно голоден, даром что не так давно поел; но он всегда голоден, ненасытен от природы, и всю свою жизнь рыскал в поисках еды, никак не желая понять, что чем больше он ест, тем сильнее возбуждает свой неутолимый аппетит. В эту ночь какой-то внутренний голос утешал его ненасытную утробу обещаниями человеческой свежатинки.

У него даже слюнки текли от запаха свежих следов, которые он чуял, тыкаясь носом в землю. Вдруг с ним произошло что-то непонятное: земля исчезла у него из-под ног, он стремглав полетел вниз и больно ушибся. Придя в себя, он увидел, что очутился на дне ямы с отвесными гладкими стенками. Он попытался выпрыгнуть оттуда, но яма была так глубока, что об этом нечего было и думать. Так он просидел всю ночь, глядя на четырехугольный клочок звездного неба, пока не настало утро и четырехугольник не посинел. Тогда волк забеспокоился и закрутился в яме; он был так голоден,

словно в его утробе сидел второй волк, и он голодал за двоих; оба они мечтали и грезили наяву об одном и том же: о двух розовых человеческих детенышах, еще не опасных по своему возрасту, но все-таки достаточно крупных, чтобы с ними стоило повозиться. Он уже дважды наслаждался запахом их вкусного мяса: один раз, когда они беспечно улеглись спать на траве, но тогда они, к несчастью, разорались, словно целое стадо людей; волк струсил и убежал от верной добычи. В другой раз, когда они сидели на дереве, с которого так и побоялись спуститься. Голод так донимал волка, что он почти грезил наяву, видел воочию то, что ему хотелось видеть.

И вдруг он в самом деле увидел их в третий раз – на краю ямы. Они лежали на брюхе, свесив вниз лохматые головы, и заглядывали вниз; им было очень весело, и они невежливо зажимали себе носы. Волка они сразу узнали; увидели, что это тот самый серый бродяга, который звал их с собой в лес поиграть. А он, как тень, кружился вокруг самого себя, подслеповато косился наверх и выпускал из себя желтую жидкость от страха перед тем, что его ожидает. Старому разбойнику и в голову никогда не приходило, что ему самому придется погибнуть насильственной смертью. Они смеялись над ним, а он в ответ уселся на хвост и завыл, как перед покойником, надеясь напугать их этим или разжалобить, но они только пуще забавлялись разбойником, который сам себе пел отходную. Пиль получила наконец новое ожерелье. Зубы были очень длинные, но наполовину гнилые; у старикашки, видно, болел желудок. Шкура воняла, и на ней были проплешины, но все-таки, за неимением лучшего, годилась пока и такая. Наступали холодные ночи, и недурно было иметь одеяло посolidнее, чем сено и лыковые циновки.

А из волчьих кишок Гест сделал себе первую настоящую тетиву для лука, жесткую и крепкую, упругую и такую прочную, словно закаленную на огне; никакая сила не порвала бы ее, и от посланной ею стрелы не уйти было ни волку, ни любому другому зверю. Так старый волк утолил свою ненасытность, обеспечив Гесту пропитание.

ОХОТНИК И ЕГО ОЧАГ

Волк был первой настоящей охотничьей добычей Геста. С этих пор для него не было лучшего удовольствия, кроме как мериться силами со всеми лесными зверями, состязаться с ними в скорости, хитрости и силе.

Он объявил войну зверью. Сначала он только копал для них ловчие ямы, куда они сами падали. Виновной в гибели могла быть, в крайнем случае, яма. Что им мешало обойти вокруг? Однако ничто не мешало и Гесту выкопать ямы как раз на старой звериной тропе, ведущей к водопою на реке.

Он подражал тому, что видел дома в Становище. Там охотники большую часть дичи добывали таким способом. Лишь иногда, с помощью собак, окружали они дичь в лесу и потом убивали в открытом бою. Если же звери не хотели попадаться в ямы, их окружали и гнали туда насильно. Но обычно звери попадались в западню сами. В лесу водилось так много всякого зверья, несмотря на многолетнюю охоту, что этот безобидный способ ловли являлся предпочтительным перед другими. Гесту и его подруге пришлось проработать несколько дней, копая яму. Сначала надо было хорошенько взрыхлить землю палками, а потом сгрести ее в корзину из ивовых прутьев. Но в четыре руки работа продвигалась быстро и доставляла удовольствие, особенно когда яма стала настолько глубокой, что Гест мог рыть землю, стоя на дне, а Пиль сыпала ее в корзину и уносила. Сначала они рыли чернозем, потом песок и глину, пока не докопались до воды; глубже копать они

уже не решались из боязни, что дно провалится, – земля не выдержит, а им вовсе не хотелось лететь в преисподнюю. На тот случай, если кому-нибудь захотелось бы узнать, кто выкопал яму, они положили вблизи ямы на самом виду свои мотыги. Зато следы своих ног они старательно сгладили. Вырыв яму, оставалось только прикрыть ее сверху тонким слоем прутьев, земли и листвы, чтобы место ничем не выделялось.

Но со дня поимки волка прошла неделя, прежде чем в яму попался другой зверь, – волчий запах отпугивал всех; наконец как-то утром в яму угодил олень. А потом дичи попадалось вдоволь. Когда нужды в новом запахе мяса не было, Гест бросал над ямой две-три крупные ветки, чтобы заставить зверей обходить кругом. В противоположность охотникам Становища, Гест не укреплял на дне ямы заостренных кольев; ему не нравился этот способ – кол протыкал шкуру насквозь, и дырка портила мех; кроме того, попавшиеся за ночь животные часто оказывались уже мертвыми к утру, и нельзя было выпустить из них кровь.

Убитый олень задал много работы Гесту и его подруге. Надо было содрать, высушить, выскоблить и выделать шкуру, руководясь опытом, полученным в Становище, принимая во внимание и то, и другое, и пятое, и десятое. Рога нужны были Гесту для выделки орудий; кости, кишки и жилы тоже шли в дело, не говоря уже о мясе, которое необходимо было разрезать на куски и провялить.

Одновременно они взялись за устройство зимнего жилья, что принесло им немало хлопот. Ночевать на дереве стало уже слишком холодно. Кроме всего этого, им предстояло преодолеть еще одно затруднение: во что бы то ни стало добыть огонь – без него невозможно было обойтись зимою.

Гест понял это, поймав в западню первого оленя; кстати, олень давал возможность задобрить огонь подходящим даром. И, готовясь сдирать с оленя шкуру, Гест невольно потирал руки: утро было холодное, и он усердно тер руки... совсем так, как усердствуют, когда добывают огонь!.. Не откладывая дела, он схватил круглый обломок отсохшего сука и, крепко приставив его к другой сухой деревяшке, принялся с силой катать в руках. Ладони у него быстро разогрелись, и самого бросило в пот, но на дереве не было заметно ничего особенного. Сучок слегка вдавился в деревяшку, как будто даже разогрелся немножко; Гест приложил его к губам и ощутил тепло; понюхал – слегка пахнет паленым; стало быть, не так уж плохи дела, он снова завертел палочку и вертел долго, напрягая все силы, пока у него искры не посыпались из глаз; когда же он в изнеможении остановился, сучок слегка задымился. Дымок распространял едкий, удушливый запах, будивший воспоминания о костре. Самый конец сучка и ямка в деревяшке заметно обуглились.

Но дальше дело не пошло. Гесту удавалось добиться того, что дерево все дымилось, чернело, обугливалось, но огонь не показывался. Всякий раз, когда он делал передышку, сучок успевал остыть и ему приходилось начинать снова, но безуспешно. Разумеется, нужно еще уметь колдовать, а он этого не умел!

Гест испробовал разные сорта дерева и ломал себе голову над разгадкой тайны, но все напрасно. Одно только было ясно: чем быстрее вертеть круглый сучок, тем больше дыма он дает; стало быть, надо заставить его вертеться быстрее, чем это выходит, когда он работает руками. Он обернул сучок веревочкой из лыка и стал вращать, дергая взад и вперед за концы веревочки, но у него не хватало третьей руки, чтобы прижимать сучок к деревяшке; пришлось взять в зубы еще одну деревяшку, чтобы придавить ею верхний конец вращающегося сучка. Дергая теперь веревочку взад и вперед, он изо всех сил налегал на верхнюю деревяшку; сучок стал вертеться быстрее и плотнее упираться

обоими концами в деревяшки. Скоро Гест заметил, что сучок задымился с обоих концов! Он с удвоенной силой задергал веревочку взад и вперед, но она перетерлась и лопнула в самый разгар работы. Гест в сердцах заменил лыковую веревочку жилой, но жила жирная и скользит между пальцами; он решил привязать к ее концам обломки прутьев вместо ручек. А заметив, что двойная опора затрудняет вращение, Гест заменил верхнюю деревяшку костью с углублением, в котором конец сучка скользил бы, не нагреваясь. Кость он тоже взял в рот, стал дергать за жилу и, увидев, что дело идет на лад, все сильнее прижимал костью сучок к деревяшке, безостановочно вращая его. Закурился дымок и стал кусать глаза – вот как быстро он вертел! Ах!.. Кость соскользнула в зубах, и он с силою наткнулся ртом на острый конец сука. Только этого не доставало, чтобы кости и палки взяли над ним верх!.. Он выплюнул кровь, снова засунул кость в рот и так крепко закусил ее конец, что зубы его оставили на ней метки, – пусть не зазнается! Он снова начал пилить своей жилой, жмурясь от курившегося все сильнее дыма, не жалея своих инструментов и бормоча сквозь крепко стиснутые зубы что-то невнятное; вроде страшного заклинания, и удвоил скорость. Он напряг все силы, перед зажмуренными глазами прыгали искры и огненные звезды... и вдруг – пых!.. Сучок и деревяшка разом вспыхнули, маленькое синее пламя взвилось над ямой вокруг сучка... Открыв глаза, изнеможенный Гест увидел огонь!..

Он сидит, как дурак, весь красный от натуги, изумленный и счастливый, с горящим сучком в руках, и вдруг роняет его, и пламя гаснет! Ни слова не говоря, он снова вставляет сучок в ямку, припоминает и проделывает все снова, не забывая и выронить кость, и ткнуть себя в рот сучком, и сплюнуть, и снова продолжать свое дело, бормоча сквозь зубы заклинание, точь-в-точь как перед этим, стараясь развить ту же скорость, жмуря глаза и ожидая того же звука, „пых“, и вспышки огня после всей проделанной церемонии. Да не тут-то было: на этот раз никакого звука, и, открыв глаза, он видит дым, но не огонь.

Разочарованный, сердитый, он старается вспомнить: не забыл ли чего? Проделывает все опять сначала, тычет себя сучком в рот, сплевывает, вращает круглый сучок точно так же и невнятно бормочет заклинание, – все точь-в-точь как в тот раз, жмурится и до крайности напрягает все свои силы, но огня нет!

Это просто нечестно со стороны огня – не появляется, хотя все сделано точь-в-точь как следует!.. Гест медленно, не теряя достоинства, опять проделывает все снова, больно тычет в рот сучком – на! – сплевывает крови больше, чем нужно, вертит и зловеще бормочет заклинание, еще более похожее на настоящее, удваивает скорость... и – приходит в ярость: он не даст себя одурачить! Душа горит, искры скачут перед зажмуренными глазами, он скрежещет зубами... и – пых! Вторично раздается желанный треск, искры и пламя окружают конец сука!..

На этот раз Гест не зевал, живо подставил под пламя горсть сухой травы; огонь лизнул ее, она задымилась, загорелась, и пламя стало расти. Гест быстро подбросил ему уже более твердые предметы – сухую кору, веточки и, наконец, целые ветви. Пиль пришла на подмогу, смущенная от счастья, что снова увидела огонь. Скоро в лесу разгорелся пылающий, бушующий костер!

Гест заботливо отодвинул в сторону инструменты, которыми добыл огонь, не дав Пиль даже глянуть на них. Он промолчал также о заклинании; те, кому следовало, слышали, что он бормотал, а раз ОНИ довольны, то больше ничего и не требовалось.

Огонь получил свою жертву – огромную долю оленины. Оленя пришлось заколоть в яме, так как

вытащить его оттуда целиком было бы детям не под силу. Но костер горел рядом, и они кусками перетаскали к нему чуть ли не всю тушу; на первый раз следовало угостить огонь так, чтобы он хорошенько вошел во вкус.

Гест знал, что в таких случаях полагается припевать и творить заклинания – он ведь подслушивал, как это делали взрослые, но самого напева и волшебных слов не знал; поэтому он ходил вокруг огня и тянул мрачно-зловещее подражание без слов, по звукам же вполне могущее сойти за самое страшное заклинание. Но и в это свое колдовство он не пожелал посвятить Пиль. Женщин нельзя посвящать во все. Но она могла чувствовать всю важность непонятных и торжественных обрядов, сопровождавших общение между духами огня и всеведущим Гестом.

Огонь остался, по-видимому, доволен как жертвой, так и пением, – он великолепно разгорелся от жирного угощения, пуская в небо клубы черного пахучего дыма, и шипел, и трещал, даже прямо-таки ревел от жадности и удовольствия; жертвоприношение удалось на славу. Когда Гест начал колдовать, было туманное утро, но жертвоприношение еще не было доведено до конца, как показалось солнце – явный знак, что все светлые силы неба и земли Выли довольны угощением. Но, когда огонь насытился, Гест с Пиль тоже присели отведать мяса, которое отложили для себя, – всем ведь известно пристрастие огня к костям и внутренностям. После долгого перерыва снова поев жареного мяса, они как будто возродились вновь. Вкусный запах жареного мяса и смолистый запах костра разносились по всему лесу. С этого дня Пиль пришлось хранить огонь.

После жертвоприношения они отправились домой с горячей головней и устроили себе очаг неподалеку от источника, на склоне холма, на лесной опушке, где они уже начали копать себе на зиму землянку. Здесь возникло первое их становище.

На устройство жилья понадобилось несколько дней. Жилье вышло как жилье – полунора на косогоре, с длинным и узким входом, расширяющимся внутрь; сверху вход был прикрыт хворостом и дерном. У внутренней стены землянки было земляное возвышение, выложенное тростником, сухим мхом и капком – всем мягким и приятным, что Пиль могла найти, включая весь ее запас циновок; в скором времени можно было рассчитывать и на звериные шкуры. Это было спальное ложе. Но теперь нужно было хранить огонь, и поэтому спать можно было только по очереди. На полу горел огонь, а над костром в дерновой кровле была проделана дыра для выхода дыма; через нее же днем проникал в землянку свет.

Вечера становились все длиннее и темнее, и они знали, что зима недалеко; но теперь у них был под землей свой собственный маленький светоч, с помощью которого они всегда могли согреться; оба хорошо знали, как надо готовиться к зиме, они знали теперь, имея огонь в землянке, за что и в каком порядке браться.

Свежее мясо можно было добывать и зимою, зато многим другим следовало запастись с осени; Пиль уже задумывалась об этом, и первое, за что она взялась, как только Гест добыл огонь, было изготовление посуды. Она разыскала глину и принялась лепить горшки. Некоторые из них она сделала такими глубокими, что только-только доставала рукой дно, придавая посуде нужную форму. Эти горшки предназначались для запасов. В горшках поменьше она собиралась стряпать. Но все ее горшки были стройные, с тонким горлышком; на некоторых она, пока глина была еще сырая, нацарапала ногтем разные рисунки, чтобы несколько украсить их наготу; к другим приделала ручки для подвешивания или, наоборот, ножки, чтобы они лучше стояли. Наделав посуды, сколько душе

было угодно, она позвала Геста на „праздник обжигания“. Они поставили высохшие горшки один на другой, обложили их вереском и хворостом и подожгли всю кучу. Когда топливо прогорело, горшки затвердели и стали пригодными для дела. Некоторые, впрочем, лопнули, погибли в огне – это была его доля; но подчас он слишком жадничал, пожирал слишком много; зато все остальные можно было взять себе, когда они остынут. В этот день был сварен суп – Пиль справляла свой горшечный пир. Всю долгую, теплую осень Пиль хлопотала, наполняя свои горшки медом и ягодами, приготовленной из них вкусной бродящей смесью, орехами и кореньями; она вялила мясо и вешала его под потолок, чтобы оно прокоптилось в дыму костра; в промежутках она плела циновки и выделывала кожи, в чем ей помогал Гест; эта работа была неприятна своим запахом; шкуры ведь должны претерпеть целый ряд мытарств, прежде чем превратиться в прочную кожу: их закапывают в яму с дубовой корой, потом откапывают и купают в таких вещах, которые не следует называть, отчищают золой и натирают жиром.

Земля стала мокрой и холодной; нужна обувь – чтобы обуться, ставят ногу на предназначенную для этого шкурку мехом внутрь, обертывают ее вокруг ноги, сколько хватит, и затем обматывают сверху ремешком; нога оказывается тогда в непромокаемом мешке, и с течением времени обувь принимает форму ноги и сохраняет ее. Для зимней обуви и для одежды требуется много шкур, и Гест охотится изо всех сил, не давая спуска никому.

Звери заметили его и начали бояться; он нарушил мир с ними. От него летят острые колючки, которых надо очень остерегаться; есть у него и острые палки, которые больно кусаются, и от него пахнет теперь совсем по-другому – дымом и гарью; видно, что он завел дружбу с огнем, исконным врагом всех зверей. Поэтому на него косятся издали и по возможности избегают встреч с ним.

Он такой ловкий и коварный: строит в поле славные норки из камешков, с рыбкой или птичкой посередине, – ни дать ни взять, звериная норка, да еще с закуской; но стоит только выдре или горностаю доверчиво войти туда и дотронуться до еды, как вся постройка рушится, а камни тяжелые и могут приплюснуть выдру, хоть она и без того плоская. Он ставит силки на заячьих тропинках в малиннике; да и барсук, высывая на рассвете из норы свою полосатую мордочку, рискует угодить прямо в петлю из волоса и быть повешенным у входа в собственное жилье. Крупная дичь сама попадает в его ямы и сидит там до утра, молча тараща испуганные, печальные глаза и сознавая свою оплошность; одна только свинья, угодив по собственной глупости в яму, визжит от обиды и будет визжать дни и ночи напролет, пока ей не заткнут глотку. Ее кожа особенно годится для обуви.

Но Гесту не терпится помериться со зверьем силами в чистом поле, на равных, и он все свободное время тратит на улучшение своего оружия, особенно лука, который все переделывает и совершенствует. Стрелы его еще малы и рука недостаточно сильна, чтобы стрелять в крупных зверей, но птицы уже начали бояться его, спешно улетали, заслышав пение тетивы, но тогда стрела была уже в воздухе, и не раз случалось, что птица и пущенная стрела встречались, и птица падала, насквозь пронзенная на лету.

Огромные стаи перелетных птиц давали по осени богатейшую добычу; стоило запустить палкой в стаю уток на лесном озере или в крикливую стаю куропаток, взлетающих с лесных полянок и луговин, чтобы уложить на месте больше, чем можно было унести с собой. И даже с отлетом всех перелетных птиц, огромными шумными стаями покидающих страну, после чего в долине и увядающем лесу становится так пусто и глухо, пернатых все-таки остается еще много, и Гест

старается хорошенько набить на них руку, расстреливает все свои драгоценные стрелы и целый день разыскивает потом в кустах самые любимые; он делает новые, теряет и их; но, если будешь жалеть стрелы, не настреляешь дичи.

Впрочем, Гест не на всех птиц охотится. Он щадит сороку, что живет на дереве по соседству с ними и питается их отбросами; такая же сорока жила и верещала в родном их Становище, и там ее тоже не трогали. Гест с раннего детства знаком с сорокой, и ему кажется, что он почти понимает ее язык; сорока – умная птица, понимает человека, и ее нельзя есть. Когда пара сорок с хохотом перелетает с дерева на дерево, сверкая черными и белыми перьями, Гесту начинает казаться, будто он знал их когда-то в ином мире.

Куда улетели перелетные птицы? Гест раздумывает об этом, созерцая пустой лес, бледное небо и далекое солнце, отодвигающееся к югу; Гест печально смотрит ему вслед; с каждым разом оно восходит все ниже и ниже, и все чаще и дольше прячется за тучами.

Сильные бури проносятся над лесом, срывают с него листву и гонят увядшие листья, выметают их из лесу. Деревья стоят черные, голые, а ветер с воем разгуливает между ветвями. Холод и дождь надвигаются на долину.

Наконец настал день, когда небо, очевидно, заболело; днем смерклось, и среди могильной тишины пошел первый снег, крупными, мокрыми хлопьями устилая землю; к вечеру вся земля побелела. Ночью буря усиливается, кругом все дрожит, снег и ветер проникают через дымовую дыру в землянку, где Гест с Пиль сидят у огня и слушают стоны леса и завыванье ветра, порывисто сотрясающего их жилье. Они чувствуют холод, ночь кажется бесконечно длинной, а когда наконец приходит день, то они не видят настоящего света; буря со снегом переплелись в объятиях и пляшут по верхушкам деревьев, лес гудит, оттуда несет ледящим холодом и вьюжным сумраком; перед входом в землянку снега намело уже по колено.

Двое детей человеческих в землянке чувствуют себя такими маленькими; они молча утирают носы и присаживаются поближе к огню, задумчиво глядя в его жаркий мир. Несколько дней и ночей бушует буря, и они не выходят из своего убежища, перехватывают время от времени кусочек-другой чего-нибудь съестного и спят по очереди; у того, кто остается беречь огонь, всегда находится какая-нибудь работа; нужны дни и недели бесконечного терпеливого труда, чтобы справиться со всеми делами при помощи тех орудий, какие у них есть. Целую вечность Гест скоблит и точит кремнем свои орудия из оленьего рога и костей; он вечно сидит, обложившись кругом звериными костями, и упорно трудится над безнадежными с виду задачами, которым не видно конца: то он мастерит рыболовные снасти, острогу для ловки угрей, каждый зубец которой надо выточить из кости, заострить и снабдить крючком, отскоблить и очистить и, наконец, укрепить на конце шеста; то он возится со стрелами – кропотливая работа, потому что тонкие молодые побеги не годятся на стрелы; для них надо расщепить старый сук и каждую стрелу обстругать и заострить. Целый день работы пропадает, если Гест не найдет пущенной стрелы, но он никогда не устает делать новые и всякий раз придумывает, как сделать их красивее; чем красивее стрелы, тем большего успеха он от них ожидает.

Пиль тоже не ленится. меховые одежды, в которые они закутаны с головы до ног, сделаны ее руками; она сама прокалывала в них дырки шилом и продевала в них ремешки, которыми потом стягивала шкуры; каждую свободную минуту она прядет, а вместе с Гестом занимается плетением

сети; этой работы им хватит на всю зиму, если работа пойдет гладко. Зато берегись, рыба, когда они обзаведутся сетью!

И день, и два проходят для них незаметно, пока буря бушует над их землянкой и воет в дымоходе над их головами. Под конец им кажется, что они целую вечность сидят здесь, что никогда и не жили по-иному. Со всех четырех сторон теснятся около них голые, черные земляные стенки; на полу горит костер, освещающий нору; вся их утварь и все запасы у них под рукой – горшки Пиль с припасами на полках и в маленьких нишах, вырытых в земляных стенах, вяленое мясо под потолком, а на возвышении у задней стенки масса шкур; орудия Геста и запасы выделанных жил и ремней в порядке развешаны на стенах на деревянных гвоздях, древесный материал для поделок сложен в одном углу; куча костей и кремней – перед огнем, связки стрел и кольев – под потолком.

Все так и манит оставаться здесь; да выходить и незачем, кроме как за водой на родник с глиняным кувшином в руках. Приходят они оттуда неузнаваемые, все занесенные снегом; колючая изморозь набивается между волосками меха, шкуры застывают и не скоро оттаивают в тепле. Родник замерзает, вокруг его истока образуются ледяные корки, но вода по-прежнему бежит. Топливо приходится брать из кучи, сложенной перед землянкой, и дрова так промерзают, что до них дотронуться больно, – так и обжигают руки холодом, и даже огонь принимается за них неохотно, пока они не оттают немного.

Куда девалось лето? Оно стало далекой, несбыточной мечтой, чем-то никогда не бывшим; кажется, будто вечно стояла зима. Один огонь хранит в себе силы лета. Лето и в меду, которым они лакомятся из своих кувшинов, как очарованные, сидят они, сунув медовый палец в рот: внутри у них как будто расцветают душистые луга, хотя они и думать забыли о лугах и цветах.

Гест щиплет тетиву на своем луке; сидит в землянке и бессознательно старается извлечь звуки, напоминающие лето; Пиль задумчиво слушает; зачем он так диковинно колдует?..

Гест взволнован, хочет играть, но ему мало одной струны, он натягивает на лук вторую; теперь их две – длинная и короткая; разумеется, в таком виде лук не годится уже для охоты, он превратился в арфу, на которой Гест играет в долгие ночи под землей песни в память о лете и погибшей дивной красоте мира.

Но, когда снежная буря миновала и они вышли наружу, все кругом, насколько хватало глаз, было покрыто снегом, все изменилось до неузнаваемости; белая земля, черные деревья, низко нависшее над ними хмурое, серое небо; но кругом тишина. Гест идет по свежим следам по снегу и возвращается домой, запыхавшись, волоча за собой оленя; он так горд и счастлив своей добычей, что долго хранит полное молчание. Лишь мало-помалу Пиль удается выудить из него подробности события. Это первый взрослый олень, застреленный им на бегу; конечно, ему помогли снежные сугробы, в которых увязло животное, так что охотнику удалось приблизиться к нему и всадить в него три стрелы. Ну, да что за диковина; всякому охотнику удастся время от времени уложить зверя. Наверно, у них не будет недостатка в дичи!

Но выпавший снег лежал недолго; всего день спустя мороз уступил место морскому ветру; глубокий снег стал рыхлеть, таять в руках; из лесу повеяло сыростью; с ветвей закапало, долину окутал туман, и, куда ни ступи, проваливаешься в талый снег и размякшую землю. К вечеру пошел дождь!

Дни и недели льют дожди и стелется туман; по временам земля покрывается белым снегом, который снова тает; потом опять мороз держится недели две подряд, так что все озера в лесу затягиваются

ледяной корой, и Гест может пройти по замерзшим болотам, посмотреть, что там скрывается летом. На бугорках он находит волчьи норы, в дупле старого пня видит спящего мертвым сном медведя; на одном болотном островке натывается на массу волчьих скелетов; сюда они, стало быть, уходят умирать, когда жизнь не хочет больше держаться в их теле. Скверное место.

Гест ходит по лесу и присматривается к зверью, к жизни лесных обитателей; они все присмирели; стоят в чаще, сбившись в кучки, и тихо покашливают от холода. Зубр пыхтит и дышит паром, нося на спине целые небольшие сугробы, жует зимнюю жвачку и держится за ветром в одних и тех же местах долины, откуда доносятся глухие, шумные всплески трясины, когда он переставляет ноги; зубр худеет, но не голодает, под снегом довольно прошлогодней травы, которую он откапывает копытами, когда проголодается. Но из лесу не слышно его звучного рева; зубр молчит зимою.

Молчат и другие звери, стоят в лесу и переминаются с ноги на ногу; звери ждут.

Чего они ждут и о чем вспоминают? Откуда они знают, настанет ли когда-нибудь снова лето? Гест начинает уже сомневаться в этом; солнце совсем не показывается больше; кто его знает, вернется ли оно когда-нибудь? Он не знал путей солнца, в отличие от стариков, но однажды, охваченный страхом, что солнце так никогда больше и не покажется, он отправился на возвышенное место, захватив с собой свое деревянное огниво, и совершил там в одиночестве жертвоприношение; он добыл огонь и сжег свои лучшие стрелы, с которыми ему было особенно жаль расставаться, более достойной жертвы он не мог себе представить. Конечно, убитое животное тоже неплохая жертва, но стрелы важнее, потому что могут отнять у животного жизнь. Гест смотрел, как пламя пожирало любимые его стрелы, плоды долгих зимних трудов, такие стройные и прямые, с тщательно отточенными кремневыми наконечниками и с тончайшей кишечной обмоткой, – и ему казалось, что невидимые силы там, наверху, могли бы немного смягчиться, получив такие дары.

Пиль осталась одна в землянке, и ее гнетет сумрак, но у нее нет сношений со сверхъестественным миром, как у Геста; она видит его при хмуром дневном свете на вершине холма у тусклого одинокого костра и дивится его тайным делам; молча и с окровавленным ртом вернулся он оттуда в землянку.

Но когда Гест вздумал заклинать солнце, оно уже вернулось.

И вскоре снова, после долгого перерыва, оно впервые вошло на небо – довольно низко еще, но сияя новым светом; сразу было заметно, что оно помолодело и снова направлялось к северу.

Когда оно снова разорвало тучи после проливного дождя, над влажной долиной засияла радуга, холодный воздушный мост, перекинутый через пропасть между облаками. Небо снова затянулось, тучи опять набросили тень на землю, опять пошел снег, опять померк день; но солнце уже улыбнулось, радуга показалась, – земля снова оживет!

Долго еще стояла зима; снег, мороз, резкий ветер, дождь, туман и теплые дни то и дело сменяли друг друга; шли недели и месяцы; но долгая, пугающая зимняя тьма была все-таки побеждена. И вновь настало лето.

И еще одну зиму пережили Гест с Пиль на том же самом месте; ту же тьму, то же крушение всех надежд, – пока в воздухе не повеяло вновь весной, в самый разгар их сомнений.

Но когда лето вернулось вторично, оно вывело их из мира детства в новый неведомый мир.

БЕЛЫЕ НОЧИ

Далеко в глубине страны, на самом горизонте, волною вздымался лес, с широкой прогалиной на

самом гребне волны. В прогалине светилося голубое небо, словно ворота в далекий новый мир; в них и устремились однажды весною Гест с Пиль; даль тянула их к себе, и они бежали, бежали вперед без устали.

День был ни теплый, ни холодный; солнце грело, но ветер дул прохладный; впервые в этом году они сбросили с себя зимнюю одежду, выползли из закопченных, надоевших шкур, словно бабочки из коконов, и выбежали на солнце нагие; но в воздухе еще холодно, хотя солнце печет; они бегут и согреваются на бегу; тело краснеет, щеки разгораются, но их обдувает ветерком, и они чувствуют себя легкими, как сам ветер, и горячими, как само солнце; воздух и солнце опьяняют их, молодой, прохладный лес обнимает их, небесная лазурь и пышные облака над их головами волнуют и радуют их; они бегут, мчатся, летят туда, на самый край света. Но вот они добежали до самого высокого места в лесу, до прогалины на вершине холма; отсюда видно далеко в глубь страны: их взорам открываются новые зеленые леса, неведомые долины, новый горизонт с далекими лесными воротами, и они бегут туда, бегут, бегут, бегут, то вверх на холмы, то вниз в долины, ни разу не оглянувшись назад; они – воздух, они – солнце, они – ветер, они – весь белый свет!

Гест бежит впереди, с луком в руках; на бегу он пускает стрелу; стрела летит перед ним, увлекая его в неведомую даль; он видит, как она устремляется в лазурную высь острием прямо в облака, потом накрывается и падает на землю; и Гест вместе с ней взлетает к небу и вместе с ней падает обратно наземь, разыскивает ее, снова пускает и снова бежит вперед. Он стреляет далеко, с силой оттягивает тетиву своего большого и тяжелого лука, который ему как раз впору; а длинная и гибкая стрела с раздвоенным кремневым наконечником сродни самой молнии; Гест украсил ее пером аиста, чтобы она взлетала повыше; он вкладывает в ее полет свою тоску, свое стремление; она летит между небом и землей, и он мысленно летит за нею.

Так бегут они вдвоем в глубь Зеландии, по обширным молодым лесам, прорезанным там и сям прогалинами, грядами холмов, на которых трепещут осинки, вперемежку с мощными древесными стволами, которые, как столбы, поддерживают на горизонте небо; они видят то, чего до них люди не видали: девственно тихие озера, окруженные со всех сторон стеною леса, холмы, поросшие вереском и можжевельником, откуда открывается вид на новые леса и голубые заливы, глубоко врезающиеся в берег. Они добежали до обширных, поросших травой степей, усеянных большими камнями, обрамленных вдали волнами теплого пара, напоенных ароматом полыни, опутанных тончайшей паутиной жаворонковых трелей, словно висящих в воздухе; добежали до ольховых зарослей и речек, где с громким плеском плавают бобры, гоня перед собой обглоданные сучья; добежали снова до открытой, волнистой местности, поросшей дерном, усеянной камнями и цветами; над нею реяли то вверх, то вниз, словно ткали в воздухе, легкокрылые ласточки, а над ними парил сокол, то ныряя, то взлетая в лазурь небес...

Гест пустил в него свою стрелу и кинулся за нею вдогонку по высокой траве; волосы его развеваются на бегу... Он оглядывается и видит бегущую за ним подругу; она быстра, легка, как ветер; едва касается ногами земли; длинные волосы колышутся на бегу вместе с ожерельем из волчьих зубов; в одной руке у нее охапка полевых цветов, в другой красивое птичье перо; рот полуоткрыт; она несется, летит... И тут Гест открывает, что это вовсе не маленькая Пиль, а длинноногая молодая девушка с красивыми округлыми руками, подобно летнему ветру, несется по траве и цветам...

Но и она, в свою очередь, замечает, что впереди бежит уже не мальчик, а молодой охотник, с высоко

поднятой головой на широких плечах; она слышит его зов, его охотничий клич, брошенный в небо... Вот он снова бежит вперед, приостанавливается, стреляет и вновь бежит высокими прыжками, подобно оленю... Она тряхнула волосами, выпрямила грудь и побежала за ним. Скоро оба они затерялись в степи, скрылись в солнечном блеске обширных полей.

Лиса вылезла из своей норы между камнями и потянула носом воздух, глядя вслед убежавшим; она чувствует неладное. Какие странные эти люди! Она часто видела и прежде мужчин, преследующих женщину; но здесь было совсем наоборот: огромный, дюжий парень во все лопатки удирал, преследуемый девушкой. Фу, – лисица морщит нос, – странные эти люди!.. Повернулась, вильнула хвостом и скрылась между камнями.

Безлюдные, девственно тихие стелются обширные степи, окутанные в паутину жаворонковых трелей сверху и тонкого летнего пчелиного жужжания снизу. Облака живут своей воздушной жизнью; одиноко совершает свой путь всемогущее солнце; долгий, ароматный летний день спокойно ждет своего конца.

Устав светить, солнце скрылось за горы. И вместе с росой с неба спускаются жаворонки, прорезывая воздух косым полетом и на минутку задерживаясь над высокой травой, прежде чем юркнуть в свое гнездышко, чтобы отдохнуть от пения.

Мир полон зеленой прохлады; всюду короткое затишье, пока сумерки расползаются между камнями, смешиваясь с вечерним туманом; зажигаются звезды, холодные, мелкие. Скоро раздаются другие поздние голоса: сумеречный крик совы, вечернее гуденье странствующего навозного жука. Из потемневшей рощи доносится протяжное, колдовское карканье ночного ворона, из болота – сонное кваканье лягушек.

День умер. Но мрак не наступает: на севере, где зашло солнце, уже брезжит новый день; небо светится, светлой дымкой окутаны степь и лесная опушка, ясно видны дремлющие вершины белых облаков; ночь голубая-голубая; кусты разбухают от тумана, из их чащи выступают белые ночные призраки. Свободно и мощно всплывает над краем земли полная луна; разинув рот, ослепленная, она глядит в ту сторону, где скрылось солнце; за луной следует крупная белая спокойная звезда. Вдали в лесах плутает эхо; волк лает на луну, тьякает и прыгает с досады на такое чудо. Но луна живет своей круглой жизнью в небе, подымается выше и парит в одиночестве, скользит над тихими озерами, купая в них свое отражение и безжизненным взором слепого озирает спящие леса и холмы вдали.

Далеко в глубине страны, у воды, между березами горит костер, звери издали поводят носом и останавливаются на освещенных луной прогалинах, не смея идти дальше; в этих безлюдных местах никто прежде не видал огня, а тем более не чуял запаха жареного мяса; чего доброго, и их всех поджарят да съедят! Яркое пламя пышет от костра, и дым ясно виден – ночь светла; время от времени перед огнем проходит черная двуногая тень; нет никаких сомнений: сюда пожаловал человек со своим огненным чудом.

Это Гест с Пиль развели здесь свой костер и, наслаждаясь его теплом, отдыхают, набегавшись за день на солнце и на ветру; они не заблудились; ничего не захватив с собой, нагие убежали они утром из дому и сами не знают, куда забежали; но им и в голову не приходит повернуть обратно. Они не боятся ночи; она так светла, и у них есть огонь. Гест добывает его с помощью двух первых попавшихся под руку сучков, не смущаясь пропускает при этом часть таинственных обрядов и даже не запрещает Пиль смотреть, как это делается. Огонь он добывает с первого раза; сучья дымятся и

вспыхивают под его сильными руками; вместо заклинания он во все горло поет песню, а когда огонь разгорается, он швыряет в него пару птиц одновременно – жертву и ужин. С этих пор они ежедневно будут справлять зажигание огня и жертвенный пир. Все свои орудия Гест оставил в зимовье, и первый попавшийся острый камень должен пока что заменять ему нож. Когда они отужинали, перья, клювы и когти вместе с обглоданными костями достались огню, ответившему довольным шипеньем; они же наломали ветвей и устроили себе шалаш для ночлега.

Так вернулись они к более простым формам бытия, более древним, чем те, в которых выросли: они начали опять с самого начала на полной свободе, на голой земле, и одни, вдвоем. Белые ночи полонили их; они провели в лесах весь остаток лета, совершенно забыли свое жилье у родника и Становище на берегу бухты; они бродили по окрестностям и каждую ночь спали на новом месте, видели новые миры, стали как птицы, как мухи, как свет – всегда в движении, вне времени и пространства, всецело занятые друг другом.

Звезда любви ярко сияла на них, как сияла она над всеми невинными тварями земными, которые стремятся друг к другу, плодятся и множатся на зеленой земле; они затерялись между ними, между птицами, которые сидели на яйцах, между оленями с новорожденными телятами, между ласточками, спаривающимися на лету, между жуками, справляющими свадебный полет попарно, слившись в одно окрыленное существо. Кукушка играла с ними в прятки и куковала над ними повсюду; ежи бегали наперегонки в сумерках, самцы-зайцы фыркали в степи; отовсюду неслись манящие зовы и крики любви, безумное мяуканье дикой кошки, залитой лунным светом на верхушке самого высокого дерева; вопли измученного страстью лося и все заглушающий рев зубра, вызывавшего соперников на поединок, – словно звуки небесных труб, множимые эхом и разносящиеся по всем долинам.

У лисицы, подглядывавшей за человеческой четой, свербило в ушах; никогда еще не видывала она таких потешных людей, не слыхивала таких бурных и бессмысленных песен, какие распевали эти двое, бегая и прыгая кругом.

Осенью они вернулись в свое жилье у родника, загорелые, возмужалые, и снова поселились там. Источник приветствовал их знакомым доверчивым журчаньем: они смотрели на свое отражение в воде и вспоминали детские лица, которые когда-то видели там; теперь детей больше не было; на их месте появились двое хорошо сложенных молодых людей, которые едва умещались рядом на поверхности водяного зеркала. Лицо Геста опушилось бородкой, он стал мужчиной. А юная грудь Пиль, прекраснейшее чудо мира, топорщилась навстречу своему отражению.

Глубоко в воде, так глубоко, что голова кружилась, они видели орла, парящего в бездне, а взглянув вверх, они видели того же орла, парящего высоко под облаками; действительность отражалась в источнике.

Землянка стояла нетронутой, как они ее оставили, но почти завалилась; они перестроили ее и подперли стены большими камнями. С удивлением смотрел Гест на свои орудия, взвешивая на руке свой старый топор, – подумать только, что он вырубил себе когда-то лодку этим ноготком! Теперь он высекал себе большие тяжелые топоры, узкие, но длиной с локоть, и брал топорщица им под стать. Лук, которым он теперь пользовался, был гораздо длиннее прежнего; кроме того, он стал брать с собой на охоту копьё – длинную жердь с кремневым острием, орудие, опасное даже для крупной дичи, если подойти к ней на достаточно близкое расстояние.

Для них не составило никакого труда запастись всем, что им было нужно для наступавшей зимы; Гест теперь больше всего заботился о том, как бы сделать свои орудия приятными для глаз, а не только пригодными для дела; и он месяцами стачивал топор, чтобы сделать его совершенно гладким; он упорно просиживал целые дни перед большим плоским камнем, водя по нему взад и вперед кремнем, поливая его водой и посыпая песком, тер и нажимал, тер и нажимал; на камне появлялась впадина, зато и кремень поддавался, хотя и медленно. Гест силен, а работа еще больше развивает его силы; часы за часами, дни за днями проводит он, нагнувшись над своей работой, молча, но страстно напрягая силы; одна борода упрямо торчит; и он не сдастся до тех пор, пока не сгладит последний след излома на кремне, хотя бы для этого ему пришлось соскоблить слой кремня во всю длину топора; перед его взорами носится топор в том виде, какой ему желательно придать орудию, и он хочет добиться, чтобы клинок был именно таким гладким. Наконечники для копий он делает совершенно круглыми в поперечном разрезе и точь-в-точь одной длины; он не переносит, если они не вполне округленные и не одинаково длинные.

Пиль точно так же относится к своей работе; они похожи друг на друга тем, что всегда стараются добиться совершенства, выполнить работу именно так, как им кажется, а не иначе. Пиль прихорашивается у родника, любуясь на свое отражение и выдумывая себе все новые и новые наряды. Она примеряет и прилаживает свои шкуры и так и сяк, прежде чем раскроить их и сшить из них новую одежду; при этом она вполголоса советуется сама с собой, расстилает материал на земле и раздумывает над ним; она плетет, придумывая новые рисунки; плетет все, что ей попадает под руку, плетет и свои волосы, для расчесывания которых Гесту пришлось сделать костяной гребень с зубьями. С наступлением холодов Пиль сшила Гесту и себе отличные шубы из меха выдры и хорьковые рукавицы, которые она расшила разноцветными меховыми лоскутками.

Но самые маленькие и мягкие шкурки, добытые Гестом, Пиль выделяла особенно тщательно и откладывала в сторону; а когда лепила свои горшки, то украшала их самыми разнообразными рисунками и для собственного удовольствия налепила целую кучу малюсеньких горшочков, которые поставила возле больших, словно целый выводок детенышей.

В середине зимы Пиль родила своего первого ребенка, нежного отпрыска, подобного пушистой почке ивы, и их стало трое в гнезде; слабый писк новой жизни огласил подземное жильё забываемой человеческой мольбой.

Зима в этом году стояла суровая, снега выпало много, землянку и родник замело сугробами, погребло на целые недели, в то время как мрак окутал весь окружающий мир. Длилась зима так долго, что люди забыли о лете. О нем осталось только смутное воспоминание, казалось, что вечно стояла зима. Река замерзла.

Гест ходил по льду, закутанный в меха по самые брови, и бил острой угрей. Рыба пахла тиной и свежей водой и вкусом напоминала о лете, о далеком лете.

Наконец среди зимнего мрака им блеснул луч весны, крохотный предвестник лета, нежный и беззащитный, как самые ранние весенние цветочки, которые вырастают прямо из-под снега и качают своими белыми колокольчиками по влажному ветру; луч, похожий на пушистые почки на иве, посылающие весенние улыбки серым тучкам в небе, предвестникам оттепели, и первым холодным лучам солнца. Пиль повторила самое себя, родив Кноп, такую же нежную и беленькую, как она сама, малютку с золотистой пушистой головкой, самую крохотную, самую нежную, самую прелестную

маленькую девочку на свете. У Геста сдавило горло, и что-то странное приключилось с сердцем, когда он впервые взял маленькое, теплое создание на руки и увидел, какая она нежная. Ее так и прозвали Кноп, она так была похожа на почки. Она была такая же кроткая, как и ее мать; попищала немного, когда явилась на свет, а потом погрузилась в глубокий сон, подобно весне, которая тоже долго спит, пока наконец не проснется.

Малютка была на редкость красива, спокойна и здорова. Гест добавил еще одну струну на своей арфе – двух оказалось слишком мало, чтобы выразить всю прелесть Кноп; в новую струну он вложил ее душу; эта струна издавала нежный, высокий и радостный звук; длинными зимними днями он пел своей Пиль и своей Кноп, и тесная подземная нора озарялась солнцем, оглашалась пением птиц, тихим шелестом только что распустившейся листвы и обвевалась летним дыханьем ветерков.

И все так и случалось, как он пел: они пережили самую дивную весну в тот год, когда зима наконец миновала, когда повеяли ветры, пролились дожди и солнце потеплело.

В первый весенний день, когда в траве зажелтели цветочки и стало совсем тепло, Пиль вынесла свою Кноп к ручью и дала струям воды поцеловать ее личико, чтобы малютка обрела чистоту и неиссякаемость источника; затем мать подняла ее к небу и посвятила дню; попросила для нее защиты у леса и, наконец, положила девочку под большим деревом у источника, чтобы она коснулась корней дуба и обрела плодородие. И пока малютка лежала там, все чудеса земли отражались в ее голубых глазах. Маленькие ручки боязливо отдернулись при первом прикосновении к земле, но затем ей пришлось пережить целое событие: большая лягушка перепрыгнула прямо через нее; без сомнения, это было счастливое предзнаменование, но как оно озадачило малютку!..

Вскоре, однако, Кноп стала обнаруживать большую склонность отправлять лягушек к себе в рот, как и всяких других движущихся тварей, которых могла достать руками. С тех пор она вела себя подобно большинству других чудес в образе человеческого того же возраста.

Весна прошла в пении и блаженстве, и вновь наступило лето, неся с собой ослепительное царство забав и дивных дней, и снова пришла зима, но и зима была хороша.

А когда снова настала весна, малютка сама переступала ножками, тянулась ручонками к лесу и солнцу. В ту весну семья оставила свое жилье у родника и собралась в дальний путь. Гест хотел видеть свет. Он решил спуститься вниз по реке и дальше по фьорду, а потом, следуя вдоль берегов, проплыть в новые края. За зиму Гест соорудил новый дубовый челн, больше и шире старого. Он взял для этого исполинское дерево, но теперь работа шла быстро и весело: ему ничего не стоило вырубить и выстругать челн своими тяжелыми, остро отточенными топорами.

Когда все было готово и настало подходящее время года, они гордо поплыли в своем новом челне со всем, что имели и в чем . нуждались. Там уместилось и оружие Геста – лук, стрелы и копья, и его орудия, и запас шкур и мехов; и его арфа, переделанная из старого лука и ставшая его лучшим другом; и огниво, тоже переделанное из лука: Гест закручивал слабо натянутую тетиву вокруг сучка для добывания огня и вращал его одной рукой при помощи лука, придерживая другой рукой обрубок дерева, в ямке которого вращался сучок; неудачи при таком способе добывания огня не случалось – все равно что при этом не петь или не бормотать заклинания. Пищу себе они могли готовить в челне – Гест сделал для этого посередине днища очаг из земли и камней; он ведь задумал долгое путешествие, во время которого им, может быть, не каждый день удастся сходить на берег, – поэтому с ними и поехал их очаг. Остроги, крючки и сети тоже были взяты; где вода, там и улов.

На корме сидит Пиль и держит весло, украшенное резьбой и всякими завитушками, над которыми Гест трудился долгими зимними вечерами; на носу же лодки он вырезал изображение белки, которое должно приносить им счастье.

На шее Пиль ожерелье в несколько рядов крупных клыков и коренных зубов; это – драгоценное ожерелье, хранящее в себе души всех зверей, убитых Гестом с тех пор, как он стал охотником.

У ее ног, в гнездышке из шкур, сидит Кноп, голубоглазая и прелестная, в горностаевой шапочке и с погремушкой из птичьей кости, куда отец наложил мелких камушков; они забавно гремят, когда она машет погремушкой по воздуху, словно жезлом; это хорошее средство для отпугивания злых духов.

На носу челна сидит широкоплечий Гест, мерно погружая свое двойное весло в воду и каждый раз давая лодке сильный толчок вперед.

Так они отплыли в путь. Сюда им пришлось плыть против течения, но это было так давно, в незапамятные времена; теперь они плыли по течению, обратно к фьорду, по направлению к чужим берегам. Ноздри Геста раздувались в предвкушении свидания с морем.

Путешествие длилось несколько летних месяцев, причем они, как потом оказалось, обогнули всю Зеландию, но в пути потеряли направление и не могли уяснить себе расположение мира.

Из фьорда они выплыли ночью, держась посередине течения и соблюдая тишину; жителей на берегу они не видали, да и не имели желаний видеть. У Геста было такое представление, что при выходе из фьорда следовало держаться левой руки, чтобы попасть в тот неведомый край, о котором рассказывали старики; он так и правил свой челн, и скоро они попали в довольно бурное море, так что пришлось вернуться поближе к берегу. Они знали, что и по другую сторону большой воды была земля, но Гест не собирался ехать той дорогой, да и водное пространство казалось ему там слишком огромным. Они продолжали держаться берегов, в надежде доплыть когда-нибудь до тех больших рек, о которых рассказывали старики.

Но берега оказались сильно изрезанными фьордами и бухтами, которые глубоко вдавались в землю и разветвлялись; и так как Гест все время держался берега, то ему и приходилось проделывать все эти повороты, пока челн не выбирался опять в открытое море; плыли они так долго и столько раз поворачивали, что в конце концов совсем потеряли направление; впрочем, им было довольно безразлично, куда они едут. Спешить им было некуда, питались они рыбой, которую ловили во время остановок, где представлялась возможность, Гест сходил на берег и охотился. Они многое видели и испытали множество разнообразных приключений, но все обходилось благополучно.

Берега повсюду были довольно одинаковые, низменные и поросшие лесом или песчаные, обрывавшиеся над морем; местами попадались скалы, и повсюду густые, непроходимые леса. Почти все время видны были берега и острова по другую сторону проливов, иногда даже довольно близко, но путники продолжали держаться вдоль берегов той страны, откуда приплыли, имея сушу по левую руку, как считал нужным Гест. Иногда они видели над лесом или на берегу дым и тогда плыли вперед осторожнее, скрывались днем и старались миновать опасное место ночью; им вовсе не хотелось встречаться с людьми.

Так странствовали они по белу свету, знакомясь все с новыми и новыми местами. И вот они доплыли до одного фьорда, очень глубоко вдавшегося в сушу; таких фьордов вообще было немало, и этот был не особенно широким, так что Гест подумывал было пересечь его и плыть дальше, но потом решил все-таки плыть вдоль берега – кто знает, может быть, он как раз и выведет их на верный путь?

Но как они были изумлены, когда, проплыв некоторое расстояние, убедились в том, что фьорд расширяется дальше в мелководную бухту, с массой чаек и берегами, которые показались им очень знакомыми. Удивительно похоже на их родной фьорд, откуда они выехали на заре юности! Неужели два залива в разных концах света могли быть до такой степени похожими?! Совершенно такой же лес, ползущий по отвесному обрыву над берегом, и точно такое же Становище в глубине бухты!.. Они обогнули мыс и вдруг сразу увидели дым, вытащенные на берег челны... и тут только сообразили, что это и было их родное Становище, куда они вернулись после долгих скитаний! Они попросту объехали вокруг своего острова и вернулись на старое место.

Их приняли хорошо. Встреча была самая радушная, ни капли горечи ни с той, ни с другой стороны. Само собой разумелось, что давнишнее недоразумение было забыто; нечего было копаться в старом хламе теперь, когда блудный сын племени вернулся домой, прославившись как отважный мореплаватель. Наконец-то подтвердилось предположение, что Зеландия – остров. Что, разве не правы были старики? Да и с первого взгляда видно было, что их земля круглая; это просто остров в океане, как все и предполагали, а теперь вполне подтвердилось. Никто не брался решать, что следовало вменить в большую заслугу – прямое доказательство, добытое опытом, дальним путешествием, или дальновидные рассуждения и предположения, высказанные, сидя дома? Обе стороны имели полное основание относиться друг к другу с почтением.

Гест нашел свою мать Гро нисколько не изменившейся. Она мало ходила, предпочитая сидеть, вообще мало двигалась с места, предпочитая, чтобы ей все подавали; те, с кем ей хотелось поговорить, должны были потрудиться прийти к ней. Пиль с Кноп были по приезду представлены ей, и она отнеслась к ним одобрительно, похвалила красоту ребенка и хороший уход за ним; эта похвала косвенно относилась к молодой матери.

После осмотра Пиль весело влилась в толпу подруг, молодых матерей, которые были девочками одновременно с ней, а теперь, в отсутствие Пиль, сами обзавелись детьми. Пиль поднимала свою Кноп вверх и сравнивала с другими малышками – кто крупнее, красивее. Детишки вообще изрядно отличались друг от друга; некоторые были толстенькие и коротенькие, даже почти шарообразные; Кноп же была полненькая, но стройная и нежная, не в пример прочим. Радость свидания была в этой части Становища еще больше; теперь оказалось, что Пиль давно стремилась повидать других женщин и поделиться с ними своим материнским опытом, даром что никогда не вымолвила об этом ни слова.

Гест был достойным образом принят в круг мужчин Становища; не моргнув глазом, он перенес все кровавые и страшные испытания, связанные с посвящением в мужские таинства; дело-то в том, что большая часть этих тайн была уже заранее известна ему. Скоро Гест стал одним из самых славных охотников племени.

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

Но он уже не мог жить без моря. Путешествие вокруг Зеландии сроднило его душу с облаками, которые плыли над ним по небу, словно огромные, крылатые духи воздуха. Куда неслись они? Ясно было, что их несет ветер, потому что облака плыли всегда по ветру. Откуда же сам ветер и куда он несется?

И если ветер может гнать облака, то ему ничего не стоит гнать перед собой судно, отдавшееся на его волю. Гест пытался плавать на своем дубовом челне под парусом из циновки, прикрепленной к

палке; это было мало похоже на легкие облака, но все же он плыл по одному направлению с облаками, и довольно быстро; видно было, что он на верном пути!

Старики качали головами, глядя на затеи Геста; они слышали не раз о подобных затеях, но не хотели понапрасну тратить на них свои силы; он же увлек за собой других молодых людей Становища, и они все принялись проделывать опыты с парусами на своих челнах, плавая сначала внутри бухты, а потом, набравшись храбрости, уплывали все дальше и дальше в открытое море. Скоро они дошли до предела парусности своих узких дубовых челнов; при более тяжелом парусе челны легко опрокидывались. Нельзя было делать их шире, чем самые толстые стволы в лесу; поэтому стали связывать их попарно, соединять поперечными бревнами или же привязывать по бревну с каждой стороны челна; бревна плыли с ним рядом и позволяли ставить такое количество парусов, как если бы челн был втрое или вчетверо шире; сам ход челна несколько от этого не страдал.

Убедившись в том, что такие новые составные суда хорошо держатся на воде под парусами, молодежь пускалась на них во все более дальние плавания. Старики же не желали плавать на таких крылатых челнах; их правилом всегда было: не удаляться от берега дальше, чем на глубину собственного тела, чтобы всегда можно было достать ногами дно, и притом охотнее отталкивались шестом, чем гребли. Челны с парусами казались им недостойной и вызывающей выдумкой; слишком они были заметны; да и для мужчины считалось более достоверным грести самому, чем заставлять ветер везти себя. Кроме того, самая безопасность новых судов, которым бревна сбоку мешали опрокинуться, самая эта безопасность как бы бросала вызов духам воздуха и воды и могла навлечь на людей гибель.

Здесь, как и всюду, обнаружилась рознь между несдержанной, порывистой молодежью и рассудительной старостью. В один прекрасный день молодежь пустилась в дальний путь; они сговорились доплыть до противоположного берега, да так и не вернулись обратно. Старики оказались правы, оставшись сидеть на старом месте, там, где сидели, – молодежь, видно, погибла. Во всяком случае, отважных мореплавателей так и не видали больше в Зеландии; пока живы были те, кто еще помнил их; стало быть, они умерли или чужой мир поглотил их.

На самом деле, они благополучно переправились на тот берег. Гест с товарищами открыли остров Фюн и нашли там почти такие же становища, как у себя на родине, и подобное же, питающееся ракушками и слизнями население, скорее приветливое, чем свирепое; попадались среди них людоеды, но нигде не было тех сверхъестественных существ, которых они ожидали встретить. Мореплаватели весело провели там время, но жажда необычайных встреч и приключений скоро снова увлекла их в море. Почти с таким же успехом открыли они и посетили остальные датские острова.

Затем они кружили по водам Балтийского моря до тех пор, пока случайно не нашли устья больших материковых рек, по которым они мало-помалу проникли в глубь Центральной Европы. Плывая по рекам, они рыбачили, а когда плыть дальше было нельзя, высаживались на берег и кормились охотой. Они пробирались по диким степям и дремучим лесам, переваливали через высокие и дикие хребты, снова выходили к рекам и снова становились рыбаками, плыли тысячи миль в глубь Азии, блуждали по безграничным степям и охотились за оленями. Они забирались на север и по чахлым лесам, мерзлым болотам выходили к Ледовитому океану, где почти не бывало солнца; там они били тюленей, делали себе челны из шкур за неимением леса, пробирались вдоль холодных берегов к

устьям других рек, которые снова уносили рыбаков в глубь Азии, где они вновь превращались в охотников, опять бродили по диким лесам, переваливали через высоченные горные хребты, упирившиеся снежными вершинами прямо в небо; но где могла пройти горная серна, там и они находили дорогу и пищу, охотясь за сернами; с этих гор они спустились в теплые долины, где реки манили их все дальше и дальше к югу; широкий Тигр извивался между тростниками, они сидели в челнах голые, солнце распаховало огненные ворота над их головами.

Так достигли они жарких стран, прошли сквозь тропические леса и обогнули Азию с юга и востока, проплыли вдоль всех ее берегов к северным островам и скованным льдами морям, где снова занялись охотой на тюленей. Отсюда они перешли на американский материк, нашли там лося, селились в лесах и горах, строили себе челны из коры, на которых проникали в глубь страны, где открыли необозримые степи и стали охотниками на бизонов; американские тропики кое-кого из них поглотили, а кое-кого задержали, как задерживались многие в тех местах, где они проходили. Но некоторые опять вынырнули и пошли дальше, на юг, в обширные степи Южной Америки, причем никак не могли понять, почему это теперь становилось все холоднее по мере того, как они пробирались южнее? Тут они охотились на верблюдоподобных животных, которых ловили арканом; и кончились их странствия не раньше, чем они достигли крайнего мыса Южной Америки и холодных туманных островов, похожих на те, откуда они приехали. Здесь некоторые из странников осели, как бы сознав, что дошли до конца мира и все-таки как будто вернулись на старое место, попались в ловушку и застряли – ни назад, ни вперед; неудовлетворенность в душе вместо жажды приключений. Там они живут и поныне!

А другие перебрались с азиатского материка на большие острова в океане, к югу от материка, питались червями, саранчой и разными грызунами; и их душевный мир замкнулся, они попали в тупик бытия и забыли свое происхождение. Третьи пустились наудачу в Южный океан, отдаваясь во власть огромных волн на своих жалких челноках, наполовину погружаясь в воду на радость акулам, хватавших их за голые ноги; они в свою очередь охотились на акулу и питались ими, пока не доплыли до островков, увенчанных пальмами и курящимися вулканами; на этих затерянных среди океана островках они сами потеряли счет времени, как летучие семена, которые уносит ветер и судьба которых остается никому не известной.

Гест с товарищами положили начало великому переселению народов Каменного века, передали свои стремления и желания в наследство новым поколениям охотников и рыбаков, размножившимся и расселившимся по всей поверхности земли вплоть до самых отдаленных ее уголков.

Но переселенцы Каменного века не были первыми. Им предшествовали другие переселенческие волны – лесных людей, которые бежали от Ледника на юг и потомки которых осели теперь в сердце Азии и Африки, в жарких тропических лесах, и волны всех тех народов, которые напирали и оттесняли друг друга на край света, сталкиваясь в своих странствиях, – когда мирно, когда враждебно, переселенческие волны катились, время шло.

Но настало время, когда Гест одумался, вспомнил весь пройденный долгий путь и затосковал по месту, откуда начал свои странствия. За многими поколениями следовал он, и все они умерли, а он не мог последовать их примеру, потому что смерть не брала его; он был самым странствующим духом. Он даже не успел состариться во время своих странствий. Но наконец Гест стосковался по оседлому существованию.

Это настроение застигло его среди океана на острове, самом уединенном из всех, за сотни миль от других островов. Со всех сторон остров был окружен глубоким океаном, медленно катившим свои волны; над головой Геста склонялась пальма с верхушкой, отягощенной плодами, словно грудь с многими сосками, но он вдруг почувствовал, что не может оставаться здесь дольше: он ощутил в душе старую, острую тревогу, всегда заставлявшую его сниматься с места и отправляться в странствия, но на этот раз он никуда не поехал. Его охватила тоска по старому, мощному дереву у родника в Зеландии, по северным звездам; и тоска эта была так сильна и нетерпелива, что он не мог и подумать проделать обратно весь тот долгий путь, что привел его сюда. Тогда он решил умереть, достал свою свечу, которую хранил все время, и зажег ее.

Это была странная свеча: она горела быстро, но в пламени ее сливались мгновение и вечность. Время не двигалось, времени не было; Гест сразу охватил мыслью всю свою жизнь; все далекое стало вновь близким; он увидел матушку Гро, лепившую своими руками свечу; увидел свою подругу Пиль; да неужели же он был когда-нибудь в разлуке с ними? Нет, он только отвернулся на минуту, а теперь снова был около них. И он так обрадовался, что совсем расхотел умирать и поскорее задул свечу. После ослепительного света настал полный мрак. Но, еще сидя во мраке, он почувствовал, что его окружает совсем другой воздух; он не слышал больше рева волн, все было тихо кругом, и только где-то неподалеку журчала вода.

Понемногу мрак вокруг него рассеялся, и он увидел себя под прохладной сенью лиственных деревьев. Со всех сторон как будто неслись тихие звуки музыки и ночные заклинания лягушек; ночь была светлая, а над его головой сквозь туман мерцали звезды – старая знакомая картина. Он снова был в родной Зеландии – словно и не расставался с нею!..

Он сидел на прохладной траве, наслаждаясь ночной свежестью, и, собрав все свои тяжелые вздохи в один глубокий-глубокий вздох облегчения, смежил веки и уснул на груди Зеландии.

БОГАТАЯ ДОЛИНА

Он проснулся, услышав, что его назвали по имени, чей-то смеющийся голос спросил: „Это еще что за гость?..“

Открыв глаза, он был ослеплен солнцем, но все же разглядел около себя в зеленом лесу женщину. Он долго-долго смотрел на нее. Да, что он за гость, где он и кто он?

Гест продолжал смотреть на странную женщину, стоя в траве на коленях. Не дух ли это, не лесной ли дух? Она так странно одета – в темно-коричневую затейливо вытканную юбку и кофту не из меха и не из лыка, сшитую в обтяжку, плотно охватывавшую стан и руки. В руке у нее была длинная палка, кривая и косая, – женщины ведь неразборчивы насчет формы. И тут же Гест открыл еще одно чудо: позади нее в лесу паслись коровы какой-то особой породы, которой он не знал; это не были ни самки зубра, ни оленя; по-видимому, они не были дикими, так как спокойно паслись между деревьями поблизости; одна из них все время позванивала какой-то висевшей у нее на шее погремушкой; что это за коровы, ей, что ли, принадлежат? Может быть, и они не простые животные, почему они так мирно гуляют? Она, верно, искусная колдунья, раз умеет привораживать животных, но с виду она ничуть не похожа на норну – совсем не старая и не страшная, а наоборот.

Девушка даже застыдилась, что он ее так разглядывает, засмеялась и хотела уйти, но он быстро ухватил ее за юбку – настоящую юбку из толстой мягкой материи. Девушка остановилась, молча улыбаясь знакомой ему улыбкой, – да это Пиль! Ведь правда, Пиль?

Она покачала головой в ответ на его вопрос, поняла его язык, и он понял ее, когда она заговорила, хотя оба они говорили совсем по-разному. Как ее зовут, и кто она такая?

Зовут ее Скур; она пастушка и батрачит в лесной усадьбе – она кивнула головой по направлению к лесу.

Батрачит?.. Усадьба?.. Пастушка?..

Гест не стал больше расспрашивать, чем больше он узнавал, тем больше терялся в догадках. Лучше внимательно присмотреться ко всему, чтобы вопросами не выдать своего невежества.

Беседа прекратилась, но они продолжали разглядывать друг друга и, сами того не сознавая, полюбили друг друга; она казалась ему жительницей нездешнего мира, чудом во плоти, с кроткой улыбкой Пиль, но все же не Пиль. А Скур, в свою очередь, едва могла устоять перед его откровенным восхищением. Они медленно пошли рядом; она, опустив голову, словно обдаваемая теплыми волнами, а он счастливый и обуреваемый страхом потерять ее.

Да, это случилось с ними сразу. Они произвели огромное впечатление друг на друга; он на нее – как чужой, она на него – как загадочное существо; но, даже узнав друг друга ближе, они не разочаровались – он тем, что она обыкновенная смертная, она тем, что чужак такой же парень, как и все прочие.

Они и провели весь этот дивно-прекрасный весенний день вместе в лесу, и Скур научила своего друга пасти коров; он помогал ей, хотя как охотник долго не мог свыкнуться с такой ручной дичью. Она спокойно командовала своим стадом, собирала его окриками и заставляла идти куда надо, направляя лишь одну корову с колокольчиком – за которой шли и все остальные.

Гест исследовал колоколец и увидел, что он искусно вырезан из дерева и снабжен язычком затейливой работы.

Вечером Скур загнала свое стадо в хлев в лесу – довольно просторное строение из гладко обтесанных бревен, с перегородками из хвороста и с соломенной крышей; очень красивое, просторное и удобное жилье, хотя бы и для людей, – казалось Гесту. А Скур доила здесь коров. Молча смотрел Гест на ее работу, не выражая удивления, а только внимательно подмечая все, готовый учиться всему. Стало быть, она руками выдавливает молоко из коровьего вымени – почему бы и нет? – ловко направляет струйки в подойник. Гест с жадным любопытством осмотрел подойник: он не из цельного куска дерева, а из нескольких дощечек, обтянутых вокруг ивовым прутом, – необычайно красивая и чистая работа. Коровы охотно дают себя доить, стоят и жуют жвачку, пыхтя и отдуваясь, теплые и пахучие; все помещение погружено в сумрак, напоено запахом молока. Надоив полный подойник, Скур, сидевшая на трехногой скамейке, упершись лбом в брюхо коровы, встала и поднесла подойник к губам Геста, и он стал глотать пенистое живительное питье, смущенный и глубоко тронутый.

Когда все коровы были подоены, Скур слила молоко из всех подойников в неглубокие круглые чашки, которые расставила на полках в хлеву; справив эту работу, она вышла за дверь наружу, где было еще светло, и принялась резать каравай хлеба.

Гест попробовал и стал есть, совсем уже перестав понимать что-либо. Он, впрочем, соображает, что это кушанье из зерен, слепленных вместе, испеченных и сладких. Не успел он еще покончить с этим вкусным угощением, как Скур сунула ему в руку новую незнакомую еду. Сыр?.. Гест разглядывал его, нюхал, отведал и одобрительно закивал головой. Но особенно заинтересовал его нож, который

резал так тонко своим узким лезвием! Нож был сделан из бронзы. Гест вздохнул – слишком много загадок сразу. Погодите, дайте присмотреться, дайте сообразить. Нужен острый мужской ум, чтобы сразу постигнуть так много разнообразных вещей.

Прошло немало времени, прежде чем Гест вполне освоился с порядком вещей. Он вернулся в свою родную долину, но все там изменилось. Видно, он долго отсутствовал, лет с тысячу, если не больше; он уехал в древний Каменный век, а вернулся в середине Бронзового века. Все те, с кем он странствовал, остались на прежней ступени развития; они двигались, вместо того чтобы развиваться; те, которые остались на месте, успели сделаться совсем другими людьми. Гест долго силился понять, в чем состояла эта перемена, да так и не додумался.

Это был тот же народ, что и прежде; только новое поколение, не помнившее ничего о своем прошлом – общем с Гестом; они сильно прибавились в числе; долина была сплошь заселена, начиная от берега фьорда и вверх по реке. Гест не мог ни с кем сойтись ближе, чем со Скур, которую встретил здесь первую.

Среди прочих новостей, Гест обнаружил еще и то, что Скур была несвободна, то есть принадлежала владельцу одной из усадеб в долине, который мог послать ее на любую работу и вообще вполне распоряжался ее судьбой. Во времена Геста все люди были равны; теперь же они делились на две части – на господ и рабов, и Скур принадлежала к последним.

Она жила одна в лесу, где Гест встретился с нею, пасла коров и все лето готовила сыр из молока; она спала в хлеву вместе со скотиной, и больше от нее никто ничего не требовал. Ее оставляли в покое, потому что пастушки должны жить в одиночестве, как и хранительницы огня; им не поручали больше ничего; хозяйева усадьбы, где Скур батрачила, были люди толковые. За дверями у нее стояла дубинка на случай, если бы ночью забрел к ней какой-нибудь охотник или молодой парень. Но она не была мужененавистницей и без особых колебаний отдалась этому пришельцу Гесту, которому так этого хотелось и который так вовремя ей подвернулся. Они коротали вместе белые ночи, и Скур переживала свою весну.

Эта была Пиль и все же не Пиль. Такой же нежный рот, как у Пиль, но сама она далеко не такая стройная, как Пиль, и не белокурая; не были ее волосы и черными, да нельзя было назвать их и рыжими; скорее всего они напоминали цветом торф; впрочем, и было-то их немного – ветром сдуло, по ее словам. Но волосы короткие, а верность и преданность бесконечные; молчаливая и горячая душа раз и навсегда переполнилась благодарностью за то, что ее полюбили. Она была такая рослая и крепкая, такая здоровенная, что почти внушала страх своей наружностью, но сердцем незлобивая, бесконечно щедрая и веселая; она вся сияла сдержанной нежностью и счастьем – лишь бы солнце на нее светило.

Гест видел потом более красивых и нежных женщин; дочери свободных жителей долины – бондов – были ослепительно хороши: высокие, светлые, смелые дочери вольных хлебопашцев с волной густых волос, сбегających на спину; они были увешаны драгоценностями, на руках и на шее блестели кованые бронзовые, а иногда и золотые браслеты и ожерелья, а на стройной талии, как раз посередине, сверкало бронзовое солнце – отличие отнюдь не слишком великое для столь прекрасного девичьего стана. Одевались они в дорогие полушерстяные ткани, щеголяли в тяжелых широких юбках, на которые уходила масса пряжи, – словом, носили на себе целое состояние; без сомнения, ноша весьма обременительная летом, но так уж было принято; зато под этим тяжелым платьем у них

не было ничего. По новому обычаю, юбка не стягивалась, как прежде, поясом на талии, что вполне естественно, когда кусок ткани обернут вокруг стана, но подвязывалась верхним концом высоко на груди, так что образовывала целую корзину сладок, в которой девушки гордо носили свои пышные груди, стыдливо закрытые, но явно выступавшие под обтяжным шерстяным корсажем. Таков был обычай в долине, и все ему следовали. Роскошные свои волосы девушки если не носили их распущенными по спине, то убирали под небольшие сетки, и волосы, просвечивая золотым сиянием сквозь петли сетки, оттягивали своей тяжестью затылок назад.

Незабываемое зрелище представляли юные дочери вольных хлебопашцев, когда их катали из одной лесной усадьбы в другую в парадных повозках с бронзовыми украшениями, запряженных храпящими мохнатыми лошадками. Дочерей вывозили статные, опоясанные мечами отцы, а впереди и сзади повозок скакали на конях молодые копыеносцы.

Но Гест оставался верным простенькой батрачке, которую он при первом свидании принял за сверхъестественное существо и которая затем самым человеческим образом осчастливила его сердце.

За то время, что Гест провел в странствиях, перемена произошла не только с его народом; кроме жизни, нравов и обычаев народных, сильно изменилась и самая страна.

Первым делом Гест разыскал родник в долине, где он жил вместе с Пиль. Родник еще не иссяк, но оскудел водою – глубокая скважина, откуда он бил, заросла и покрылась дерном; исчезло то водное зеркало, в котором Гест с Пиль когда-то любовались своим изображением и отражением окружающей природы. Теперь родник струйками вытекал из чащи сорных трав, и, стекая с холма, они соединялись в узенький ручеек. Сама река, в которую он впадал, стала в этом месте похожа на ручей.

Большая, глубокая, полноводная река обмелела и сузилась, заросла тиной и водорослями; луга были осушены и расчищены людьми, а со стороны долин к ним примыкали возделанные пашни – бывшие лесные полянки, тоже расчищенные и вспаханные. Здесь повсюду волновалась зеленая рожь, как прежде, на памяти Геста, разные полевые травы; теперь здесь давали расти только одному сорту травы, которую сеяли ради ее зерна. А посреди зеленых пашен стояли усадьбы.

Лес сохранился и был похож на прежний – там, где не был вырублен, – густой и непроходимый, с тою же дичью, лишь более осторожной и малочисленной, в чем Гесту пришлось убедиться.

Одни зубры исчезли из леса; частица их крови передалась домашним быкам, очень похожим на них, но гораздо меньших размеров. Олени и дикие свиньи уцелели. Впрочем, в усадьбах теперь держали домашних свиней, как и лошадей, овец и других животных, которые прежде и не водились в стране. Переселение животных осталось темным пятном в истории. С исчезновением зубров в лесах стало тише; в долины не доносился больше их рев, приветствующий восходящее солнце. Но воспоминание о нем сохранилось в звуках бронзовых рогов, которые время от времени трубили в долине, возвещая или большие жертвоприношения, или войну – кровавые стычки между бондами, которые никак не могли ужиться в мире между собою.

Народ стал беспощаднее, чем в былые времена, когда дело обыкновенно ограничивалось крикливыми угрозами да похвальбами, обходилось без кровопролития; теперь люди, поссорившись, молча били друг друга тут же, на месте, своими длинными ножами; по-видимому, ни у кого больше не сжималось сердце, как бывало прежде, при одной мысли ударить кого-нибудь ножом. И когда

рога трубили в долинах, в их звуках слышалась жажда крови. В воздухе словно вновь оживали отзвуки былых боев между строптивыми зубрами в дни весенней случки. Самым изгибом своим боевой рог напоминал рога зубра, в которые трубили прежде, чем додумались выделывать их подобие из металла. Но это было так давно, что даже население самой долины ничего об этом не помнило, – вот сколько времени Гест отсутствовал.

Но если рев зубров-самцов оживал в звуках рогов, которыми владельцы земли – бонды – вызывали друг друга на бой из-за владения тем или иным земельным участком, то самки зубров возрождались в домашних коровах, которые стадами паслись в лесах, разделяя свое мирное житие со смиренными людьми, у которых не было собственности и которые были приставлены пасти скотину и копать в земле. Если спросить батраков, откуда они взялись, они бы ответили, что они так и родились батраками. Но где же они родились? Верно, в той же торфяной яме или в свином закутке, где жили. Впрочем, они никогда не выражали никакого недовольства. Так теперь сложилась жизнь в долине. Там было очень людно и беспокойно – и для взора, и для слуха; неустанное движение происходило по обеим дорогам, проложенным каждая по свою сторону долины, от моря в глубь суши. Не проходило и дня, чтобы на дороге не встретился какой-нибудь скачущий во всю прыть верхом или в повозке человек; но это уже не был, как в прежние времена, человек, которого встречные знали бы в лицо или по поведению которого могли бы сразу догадаться, куда и зачем он торопится; теперь всюду мелькали совсем чужие лица, по которым ни о чем нельзя было догадаться, и дела у них бывали самого разнообразного характера; жизнь стала сложной, и ее трудно было понять сразу. Кроме людей, скачущих по дорогам, часто можно было встретить в поле батрака-пахаря или пастуха; дикие животные, конечно, разбежались из долины, зато появились домашние.

В долине все время стоял гул от человеческих разговоров, собачьего лая, лошадиного ржания, людских возгласов, визга немазанных колес, петушиных криков. Эти заморские птицы то и дело топорили перья, надували зобы и что-то бормотали грубым голосом; домашние гуси вытягивали шеи вслед прохожим, собираясь их ущипнуть; бедные птицы зажирели в неволе и стали ходить по земле, вместо того чтобы летать по поднебесью. Из дворов и женских светлиц кралась кошка, тоже заморский уроженец, и с ухватками тигра пробиралась по росистой траве, поблескивая своими змеиными глазками и охотясь за невинными туземными полевыми мышами. Движение и шум никогда не затихали в прежде столь мирной долине, а если и затихали, то стрекотали крыльями игрушечные ветряные мельницы, прикрепленные ребятишками к изгородям. Да, жизнь была ключом в долине.

Гест охотнее всего проводил время в лесу. В глубине долины, в окрестностях родника, лес был почти не тронут, но все же стал совсем другим; даже самые старые деревья были уже не те, которые знал Гест. Высокий древний ясень у родника исчез; на его месте выросла целая рощица молодых ясеней – быть может, побегов от корней большого дерева, на котором Гест с Пиль когда-то свили себе гнездо. От их землянки не осталось и следа; столетний дерн покрывал то место. Лес шелестел, но по-иному, не так, как в былое время.

А Становище у бухты фьорда? Там уже с давних пор никто не жил и не оставалось никаких следов человеческих жилищ; только длинное, низкое возвышение на берегу, поросшее дикими растениями, указывало место бывшего поселения. Рыбаки жили здесь и теперь, но они ютились на самом берегу, вели совсем иную жизнь, и у них не сохранилось никаких преданий о том, что в глубине фьорда

было когда-то Становище. Они строили лодки и ловили рыбу в проливе.

В одной из гаваней фьорда, возле зарождающегося поселения стояли такие большие парусные ладьи, что прежние дубовые челноки казались рядом с ними малыми детками. Да, вот это были ладьи! Гест долго оглядывал их со всех сторон издали, пока наконец не собрался с духом подойти поближе, – сразу ему оказалось не под силу освоиться с таким чудом.

Ладьи ходили отсюда в заморские земли и возвращались обратно! Некоторые были так велики, что подымали от дюжины до двух десятков людей, не считая груза! Они обогащали душу великими, чарующими представлениями о далеких землях, откуда они приходили, о совсем иных краях, нежели те, по которым блуждал Гест, о тех таинственных землях, откуда в долину текли богатства, металлы, скот, откуда пришло умение возделывать землю. Гест тихо ходил вокруг ладей, не говоря ни слова, боясь сознаться даже себе самому в том, что жизнь обманула его, даром что он изъездил чуть ли не весь свет!

Он, мореплаватель и исследователь чужих краев, вернулся на родину и должен вновь начать свои исследования здесь – вот как обогнало его время! И получит ли он свою долю в этом совершенно новом мире, возникшем на старом месте?

Долина и все условия жизни дают ему немой ответ по мере того, как он вникает во все отношения и начинает понимать их. Усадьбы закрыты для него. Зеленые пашни раскинулись открыто, но дворы огорожены; бонды владеют землей, закрепленной за их родом, а окрестный лес составляет общую собственность нескольких соседних родов, гранича с владениями чужих родов, обитающих в долинах по ту сторону леса. Весь остров густо населен по берегам и по долинам. Лишь в середине его раскинулся на несколько миль в окружности необитаемый лес, у которого сходились границы различных владений. Но со всех сторон возникали притязания и на него, и потому боевые рога так часто трубили, а длинные мечи так слабо держались в ножнах. Безродному Гесту нечего было и думать о том, чтобы получить здесь землю.

Вольные хлебопашцы сидят по своим дворам, в домах-крепостях, срубленных из толстых бревен; кроме жилого дома, на том же участке расположены разные хозяйственные постройки, а сам участок обнесен крепкой изгородью; в гости к ним пожаловать можно, они все вооружены и никого не боятся; но как пройти мимо большого, лохматого, беснующегося на цепи пса, сторожащего калитку, – это уж дело бедного странника. Сами хозяева усадьбы радушно встречают странника, особенно если он умеет рассказывать или обладает даром скальда; его щедро угощают и дают ночлег на чердаке или в хлеву, смотря по его внешности; но само собою разумеется, что на другой день странник должен уйти.

Гест, со своей стороны, скоро понял, где его место. Никто не знал, кто он и откуда пришел, никто не спрашивал его об этом, и сам он не заговаривал. Но зато все знали, что он близок с пастушкой Скур. Никто не пеняет ему за это, но все же на него смотрят как будто свысока. Независимо от того, что он пришелец, он таким образом сам невольно определил свое место в обществе; и сразу же совершил проступок: нанес ущерб девушке – что хотя и незаметно пока, но, вероятно, скоро обнаружится – и, стало быть, причинил убыток ее хозяину.

Люди не ошиблись. В середине лета Скур стала заметно уставать, бегая за коровами. Тем временем и Гест окончательно понял свое положение и то, что здесь ему оставаться незначит. Из чувства любопытства его сначала охотно принимали в усадьбах – он ведь замечательно играл на арфе.

Взрослые дочери бондов с волнением слушали его песни о неведомых им краях, но их расширенные глаза смотрели мимо него; они видели картины, воспетые им, но его самого не видели. А стоило им заметить его, глаза их холодели, нос вздергивался кверху, словно от запаха хлеба.

Гест не завидовал жившим в усадьбах. Они жили в богатстве, которому не радовались от жадности, заставлявшей их желать большего. Им было уже мало одного хлеба; они плакали без закуски; прошли и забыты были те времена, когда люди могли жить по лесам в одиночку; даже батраки-рабы уверяли, что голодны, если в руках у них не было лепешки, хотя бы год был сверхурочным на желуди и орехи!

Гест легко мог бы заработать себе пропитание, если бы ему дали местечко для жилья. Он готов был рыбачить, но надо было отдавать часть улова в уплату владельцу берега, а это было ему не по душе. В глубине фьорда, где приставали ладьи, собрался кой-какой пришлый люд, не имевший земли и добывавший себе пропитание тем или иным путем. Здесь жил кузнец, ковавший бронзу и, между прочим, изготовлявший всякое оружие и металлические украшения. Последив за его работой, Гест перенял его умение и готов был приняться за то же ремесло, но охота его быстро прошла, как только он изготовил самому себе хороший топор и нож, – работать на других, хотя бы и за плату, казалось ему унижительным. Видно было, что при всяких обстоятельствах он останется в зависимости от других.

Поэтому он довершил свое преступление, сбежав вместе со Скур в лес. Теперь он снова стал беглецом, как в былые времена, и свободным, как птица.

Оно, впрочем, было не так легко на этот раз. Гест мог, конечно, прожить в лесу охотой, но трудно было бы долго скрываться там, даже в самых отдаленных и глухих частях острова. Везде проходили свинопасы со своими стадами и рыскали другие охотники. Осесть в лесу прочно, обзавестись жильем, стало быть, нечего и думать, а без жилья можно прожить летом, но не зимой.

И вот Гест снова соорудил себе челн на морском берегу, в глухом углу, где никто не успел за это время напасть на его след. И когда перелетные птицы начали собираться в стаи, вместе с ними отправился в путь и Гест, отплыв вместе со Скур к чужим берегам.

В ШВЕЦИИ

Покидая берега Зеландии, Гест и Скур не чувствовали себя жалкими беглецами, бедными и одинокими; смело и радостно пустились они в неведомую даль. Кроме ножа и топора Гест захватил с собой рыболовные крючки и лук и, не боясь нужды, дышал полной грудью. Ему как будто только и не хватало этой оторванности от людского мира, чтобы как следует насладиться своими новыми орудиями из бронзы. Овладев ими, он взял свою долю из тех благ, которыми так богата была его родная, а теперь покинутая долина. Больше ему ничего и не надо было. Просто изумительно, сколько всего можно сделать с помощью таких орудий!.. Он хорошо все запомнил, присматриваясь к жизни в долине. Между прочим, можно построить большой, красивый бревенчатый дом, вроде тех, что закрывали перед ним свои двери. Дом этот можно выстроить и в другом краю, на свободной земле. Гест решил стать землепашцем и твердо запомнил все, что надо было предпринять для этого. И он со смехом поведал Скур, как удачно он приобрел свои бронзовые орудия. Он сам отлил и выковал их, чтобы хорошенько познакомиться со свойствами металла, и заплатил кузнецу не только за науку – платить надо за все, – но и за металл, а его пошло немало: топор был увесистый; но как она думает, чем он заплатил за все это?.. Камешком, маленьким блестящим камешком, который он

подобрал где-то во время своих странствий и припрятал за его алый цвет и блеск. Кузнец так распалился, когда увидел камешек, что готов был нагрузить на Геста столько металла, сколько ему и не унести было, – всего за один камешек! Какие глупые бывают люди!.. Гест во все горло хохотал над дураком, променявшим топор и нож из бронзы на камешек!

Скур покидала страну тоже не с пустыми руками; она взяла с собой в челн небольшой мешок посевных семян, которые и бережет пуще всякого сокровища; из этих семян они получают свой первый урожай – если духам земли будет угодно и небо благословит их поле. А в объятиях она держит пару козочек; это были ее собственные животные, и поэтому она захватила их с собой. С радостью забрала бы она и коров, не будь они чужими; впрочем, они-то не поместились бы в челне. Да хватит ей возни и с козами; они боятся воды и порываются выпрыгнуть из челна; пришлось связать им ноги и положить на дно лодки; вреда им это не причинило.

Скоро уже можно было ежедневно высаживаться на берег и хоть ненадолго выпускать коз погулять. Мало-помалу животные так привыкли к плаванию, что спокойно стояли в челне без всякого присмотра. Гест направился от Зеландии к противоположному берегу, к большой земле, Швеции, о которой слышал раньше, но где ни разу еще не бывал. Он пересек Зунд в самом узком месте – в хорошую погоду это пустынный переход даже для очень нагруженной лодки; затем он двинулся к северу, придерживаясь низкого, скалистого берега, выдававшегося в море длинным мысом. Гест искал устье какой-нибудь реки, которая дала бы ему возможность проникнуть в глубь страны. К югу он не направился, зная, что Сконе и берега Балтийского моря были густо заселены, – он же, как и в прежние свои странствия, искал вовсе не людей.

Где бы они ни увидели на берегу дым или другие признаки человеческого обитания, они торопились объехать это место подальше или укрывались где-нибудь до ночи. Обогнув мыс, они увидели устье первой большой реки и направились было вверх по течению – берега показались им необитаемыми. Но в конце второго дня плавания они встретили плывущую по течению требуху и другие отбросы и повернули назад, поняв, что там, выше по реке, живут люди. В следующей реке, впадавшей в море севернее первой, они даже встретили людей, наткнулись на них совершенно неожиданно в укромном уголке между скалами, где хотели укрыться сами. Но ехавшие во встречном челноке из шкур испугались пуще них и притворились мертвыми, растянувшись на дне своего челна, закатив глаза и открыв рот. Было их двое, малорослые человечки, с торчащими жесткими черными волосами, растянутыми ртами и розовыми сальными губами. В челне у них лежали лососи; по-видимому, это были рыбаки. Никаких металлических орудий при них не было. Гест не поехал дальше и по этой реке.

Следующая река, большая, с довольно быстрым течением, казалась более безлюдной; по берегам валялись нетронутые полусгнившие стволы деревьев – очевидно, здесь никто или почти никто не высаживался на берег и не разводил огня. По этому водному пути они плыли много дней, забираясь все дальше и дальше в глубь страны, между девственными лесистыми берегами. Здешний лес не вставал сплошной высокой стеной, был редкий и светлый, большею частью березняк, с болотцами и полянками, перемежавшимися с каменистыми местами, где были рассеяны валуны, иногда величиною с дом, а там и сям высились и настоящие скалы. Ширь и даль, но не без укромных долин и бухточек; много холмов, с которых открывался вид во все стороны; блаженный край, богатый дичью, первобытно тихий – как раз по сердцу Гесту. Здесь – чуял он – природа была еще девственна,

здесь он и решил остаться.

Как-то ночью они остановились в одном месте высоко по течению, где река уже значительно сузилась, но была еще достаточно богата рыбой, а на берегах виднелись следы лосей. Гест с подругой укрылись под большими обломками скал, сгромоздившимися так, что образовалось подобие пещеры: тут они и остались; это было их первое жилище в новом краю. Козы, как только их спустили на землю, тотчас начали карабкаться на скалистые глыбы, залезли как можно выше на крышу нового дома, и, видимо, остались довольны новым местожительством. Гест ходил с луком в лес на охоту, а когда оставался дома, валил деревья для постройки и не мог нахвалиться своим новым топором. Скур выбрала поблизости более или менее ровное местечко с рыхлой почвой, которую можно было приспособить под пашню, удалив самые тяжелые камни; она сразу взялась за дело, с исполинской силой таскала крупные и мелкие камни и складывала из них каменную ограду вокруг участка, расчищенного под усадьбу. Участок вышел в несколько десятков шагов в длину и в ширину, но не четырехугольный и не совсем круглый: это был их первый двор.

На много миль вокруг лес был необитаем. Во время своих охотничьих скитаний Гест убедился, что он первый поселенец в этой части страны. Вдали лес граничил с цепью больших озер, но тот край Гест еще почти не исследовал; с другой стороны, на расстоянии нескольких дней пути, тянулись невысокие горные хребты, покрытые снегом большую часть года; там было холоднее, чем в других местах, и туда Гест ходил за оленями, когда появлялась необходимость.

В лесу неподалеку от жилья ходили лоси, выставляя из-за болотных кустарников свои ветвистые рога, похожие на огромные руки с растопыренными пальцами. Гест не пугал их, пусть себе живут, не тревожимые собачьим лаем; сам он охотился без собак и привык двигаться по лесу так же бесшумно, как прочие его обитатели. Очень редко, только в случае нужды, он убивал и лося, притом так быстро, что тот не успевал даже опомниться; топор разил с быстротой молнии, и животное падало замертво, не успев испытать страха смерти; Гест уважал жизнь и никому не хотел причинять лишних страданий. Поэтому Гесту никогда не приходилось долго искать мясо.

В свободное время он работал и выстроил себе бревенчатый дом, под защитой больших каменных глыб, которые дали поселенцам первый кров. От Скур Гест научился земледелию, и с годами они добавили к своей усадьбе еще несколько небольших пашен, обнесенных оградой из камней; собираемый с этих пашен урожай с избытком покрывал потребность поселенцев в хлебе. От пары коз у них развелось целое стадо. А у них самых народилась куча ребят.

Гест здесь осел. Над его головой в вершинах деревьев гудел ветер, с шумом приносившийся издали, свистел и пел, и уносился вдаль, шурша по пути листвою других деревьев; березки содрогались от его порывов всеми своими листочками и снова успокаивались, когда он пролетал мимо; это сам бог бури проносился по лесу – приносящий холод, неустанный и незримый. Ветер улетал, но Гест оставался.

Над головой его шелестели залитые солнцем рябины. И работы у него здесь было вдоволь; одних ложек сколько он вырезал – для всех ртов, число которых все увеличивалось в усадьбе; из кривых корней березы он мастерил для Скур деревянные чашки; хватало дела на всю зиму. Все, что у них было из утвари и домашней обстановки, они сделали собственными руками.

Гест считал, что может назваться крестьянином, когда по прошествии нескольких лет они обзавелись и домом, и хлевами, и сараями, и довольно большими пашнями, неправильной формы и неровными –

в зависимости от волнистости почвы; кое-где из ржи торчали крупные каменные глыбы, но это не мешало урожаю зерна, и в любое время к этим пашням можно было добавить еще сколько угодно земли. Из домашних животных они держали пока только коз, и Скур долгие годы вздыхала по коровам, не говоря уже об овцах, – козья шерсть совсем не то, что овечья. Гест мечтал о паре лошадей, но все это явилось само собою, когда выросли дети.

Дети Скур вышли все рыжеволосые, веснушчатые и крепкие; все родились здесь, в домике у каменных скал; мир начинался для них за его порогом в отгороженном камнями дворе с многочисленными постройками; здесь ребятишки учились ходить и возились с козлятами; потом к этому миру прибавлялись вспаханные поля, затем река и лес, и дети уже в довольно раннем возрасте отваживались пускаться в первые странствия.

Вереск ласково принимал их к себе в гости и расстилал для них постельки; как славно было поваляться там в теплый летний день, как хорошо там пахло и сколько ждало их находок в виде птичьих гнезд! Малинник укрывал ребятишек в своей солнечной гуще – только рыжие головки торчали оттуда; брусника и черника угощали их на полянках, усеянных табуретками-пеньками и мягкими подушками из мха. И здесь маленькие человечки „завоевывали земли“ – широким жестом присваивали себе ту или другую ягодную кочку или пенек: кто первый нашел, тот и хозяин! В таких случаях родственные отношения не принимались в расчет, уважалось лишь право первенства.

Их занимала всякая букашка, ползущая по земле, и муравей, такой крохотный и воинственный, и сердитая пчелка, и мохнатая гусеница, извивающаяся по тропинке, и паук, качающийся на своей паутине, и черные слизни, оставляющие за собой скользкую дорожку и съеживающиеся, как только до них дотронешься. Потом ребятишки стали распознавать птиц, и всюду в лесу появились у них друзья и знакомые, каждое дерево было для них живой душой.

Шли годы; бывали суровые зимы с долгими мрачными днями, со снегом, запиравшим их двери сугробами в человеческий рост и загораживавшим дорогу в лес, но поселенцы умели извлекать радости даже из суровой зимы: катались с гор на самодельных салазках, ходили на охоту, подвязав к подошвам ног длинные деревянные полозья-лыжи, и били волков, увязнувших в свежеснежавшем снегу, по которому чудесно скользили на лыжах сами охотники.

Потом наступала весна с чудными оттепелями, светлое юное солнце целовало покорные деревья, и они наливали свои почки; пели птицы, ночи становились теплыми, а затем начинались долгие, чудесные летние дни; дети гоняли коз пастись в лес, слушали кукованье влюбленной кукушки в долинах и внезапные дерзкие взрыва хохота какого-то легкомысленного лесного божества; короткие светлые ночи с каждым годом все больше и больше обогащали душу драгоценными впечатлениями.

А осенью они благоговейно собирали спелые колосья со своих маленьких, неправильной формы пашен, выгоняли лису из ее последнего убежища, рвали орехи, ягоды и дикие яблоки, такие заманчивые, румяные, но кислые-прекислые. Дети попробовали на вкус почти все, что попадалось им на глаза, и потом делали разумный выбор. Так росли они, росли быстро, и старшие дети были уже взрослыми, когда младшие еще только учились ходить.

Все были здоровые и сильные – настоящие богатыри. У парней плечи были такие широкие, что они могли пролезать в двери жилища только боком, не говоря уже о том, что им приходилось нагибаться, чтобы не стукнуться головой о притолоку, но зато они больше ни перед чем в мире не гнули шею. Долговязые парни сидели тихо, как мыши, с деревянными ложками в руках вокруг общей миски с

ужином, терпеливо ожидая, пока отец закончит свою обычную коротенькую речь о чудесах благословенного зерна, а потом с таким усердием принимались за еду, что деревянные ложки хрустели на их крепких зубах; каша из толченого зерна, сваренного на воде, быстро исчезала во рту, хотя из приличия и приходилось сдерживать аппетит и не забираться в соседние владения, а, как подобает благовоспитанным ребятам, стараться попадать ложкой в самую середину чашки, пока она не опустеет.

Девушки тоже росли и развивались; они с песнями вертели жернова, молотившие зерно на кашу, вдыхали запах свежесмолотого зерна, набирались сил и наливались соками, быстро созревая для сильных, здоровых радостей женской жизни и трудов материнства.

Дети Геста и Скур положили конец уединенной, обособленной жизни лесных отшельников. В противоположность родителям, которые стремились к одиночеству, молодых непреодолимо тянуло к общению с внешним миром и с другими людьми.

Через непроходимые леса, тянувшиеся на много дней пути, сыновья отыскивали дорогу в населенные леса, пленяли своей первобытной дикой красотой тамошних „ручных“ красавиц и, находя тех слишком прелестными и нежными для пешего хождения по земле, попросту уносили их на руках, предварительно разорив их девичьи терема и оглушив тех, кто их сторожил. С восторгом приносили парни растрепанных красоток к себе, в родительский дом, и иногда получали разрешение оставить их, иногда же – если девица оказывалась чересчур растрепанной и не приходилась ко двору – обиженно уходили из дому и ставили себе новый дом по соседству. Таким образом возникли новые дворы, отделившиеся от старого.

Дочери стерегли в лесу коз, но часто не могли уберечь самих себя при встречах с чужими парнями, приходившими сюда издалека; уж больно красивы и решительны были чужаки.

Потомство в усадьбе все росло, и, хочешь не хочешь, деду приходилось принимать его под свой кров да мастерить ложки для новых ртов. Но бывало так, что чужак уже не хотел расстаться с девушкой и, раз подержав ее в своих объятиях, становился зятем и получал пару коз в приданое за пленившей его лесной красоткой с веснушками на носу. Молодой чете помогали поставить свой двор по соседству с усадьбой старого Геста, и с годами на месте дремучего леса вырос целый поселок.

Сыновья, побывавшие в самых отдаленных и богатых поселениях на востоке и западе, придумывали разные улучшения в хозяйстве. С детства они питались заварными лепешками матери и козьим сыром; под потолком всегда коптились в дыму очага лосиные окорока; не было недостатка и в каше; лучшей пищи не знали, зато она всегда была в изобилии. Но всякому приятно разнообразие, и почему бы не попробовать еду, которой питаются другие? Парни отправлялись в дальние путешествия – надо же куда-нибудь девать свободное время – и возвращались домой с новым домашним скотом. Это им стоило больших усилий. Потратили, например, несколько недель, чтобы притащить домой пару молодых кур; уж очень трудно было донести их живыми; сами пройти столь дальний путь куры были не в состоянии, а когда их брали на руки, они квохтали и клевались до крови. Однако с таким трудом доставленные куры вместо того, чтобы нести яйца, начали кукарекать; у них выросли шпоры на ногах и гребни на головах. Продавцы надули покупателей и продали им петушков вместо курочек! Да зато теперь и у них в усадьбе пели по утрам петухи, как у всех добрых людей. В другой раз они добыли себе и кур, причем остереглись пенять на то, что их надули в первый раз; зачем признаваться в собственной глупости? Во второй раз они были осмотрительнее, и вот и у них

перед домом на навозной куче гордо топорщил перья горластый петух, а на столе, когда мать бывала в духе, появлялась яичница.

Однажды парни вернулись домой из долгой отлучки, запыленные и усталые, но счастливые, ведя за собой пару овец. На этот раз они зорко следили, чтобы их не обманули в обратную сторону, – им нужно было одного барана, и они его получили. Теперь у женщин будет овечья шерсть! Овечки были послушные, привыкшие пастись на привязи, и стояли смирно, моргая своими желтыми глазами, в которых словно сидел живой черный червячок, с тихим „бе-е!“ принимали угощение и молча жевали жвачку. Да, лес услышал новые звуки – овечье бляение; ветер подхватывал зов одинокой овечки, в ответ на который слышалось баранье невнятное бормотанье, как бы не предназначенное для посторонних ушей, но неудержимо рвавшееся из закрытого рта.

Следующей весной на дворе уже раздавалось слабое бляение новорожденных ягнят.

Понемногу в усадьбе завелась всякая скотина. Сам Гест занялся пчелами; перехватывал рои и плел для них ульи, которые на зиму закутывал в солому; их летнее жужжанье глубоко запало ему в душу. Скоро ульи стали очень цениться в усадьбе; им отвели за домом защищенное от ветра место, впоследствии превратившееся в огород.

Огромным событием было прибытие первой коровы. Все долго ждали его и заранее к нему готовились. Сначала надо было накопить для покупки достаточное количество звериных шкур; на это потребовалось несколько зим. Сыновья понемногу стали заправскими купцами, узнали цену на все товары и, если их подчас и обманывали, то неизвестно все-таки, кто больше выигрывал от сделки. В богатых поселках в долине часто исподтишка надували этих косматых, простодушных парней из леса; так, однажды их заставили отдать целую кучу мехов за швейную иглу, за одну бронзовую иголку с ушком; но парни с восторгом неслись обратно домой со своей иголкой, которая имела огромный успех у женщин. Даже отец Гест взглянул на иглу счастливыми глазами: ведь его неоценимые сокровища – топор и нож – не размножались, ведь эта тоненькая крошка-иголка была тоже из бронзы.

Наконец удалось накопить достаточно шкур, чтобы выменять на них корову, и таскать их пришлось не в один прием и не одному человеку; все лето шагали сыновья взад и вперед и только осенью привели наконец домой корову. Она шла медленно, повредила себе копыта, приходилось по вечерам давать ей отдых, а днем пускать ее пастись на лужайку, делать с нею большие обходы по лесу, чтобы миновать чащи. Путешествие длилось томительно долго, и у коровы от усталости на лбу прорезались морщины, но все же ее благополучно доставили домой.

Стоило, однако, перенести все эти труды и хлопоты, чтобы посмотреть на радость матушки Скур, когда корову наконец привели. Скур заметно состарилась к этому времени, она даже задрожала, когда впервые после долгих лет разлуки обняла старую знакомую за рога.

Но с одной коровой далеко не уйдешь. Надо было достать быка, чтобы иметь телят и молоко; скорые на язык сыновья Геста обмолвились как-то, что на то есть, мол, у них зятя... И хорошо, что так, потому что пришлось совместными усилиями копить меха и зерно, работая с раннего утра до позднего вечера.

Наконец приобретен был и бык за чудовищно дорогую цену; продавец нажился бессовестно, но покупатели все-таки остались бесконечно довольны, считая, что одурачен продавец. Они ведь не просто приобрели пару животных: появилась возможность развести целое стадо; в будущем в

усадебных наплодятся сколько угодно рогатого скота!

Таким же образом обзавелись они и лошадьми. Все население дворов с лихорадочным нетерпением ожидало возвращения двух посланных за лошадьми. Они гордо вернулись домой верхом, правда, с поджатыми ногами, потому что парни были здоровые, а лошадки маленькие, но их въезд произвел должное впечатление. Женщины вышли навстречу с ячменным хлебом, чтобы достойно принять избалованных животных и расположить в свою пользу.

– Уздечку выньте сначала! – заорали парни. Недоставало только, чтобы эти невежды испортили скотине зубы!

Маленькие лохматые лошадки, заплетенные в сбрую до самых глаз, стояли, сдвинув ноги вместе и переминаясь с копыта на копыто, кротко брали хлеб своими мягкими губами и жевали. Теперь в усадьбах, кажется, ни в чем не было недостатка. Ребятишки глядели во все глаза, но некоторые из них были разочарованы: по рассказам взрослых о силе и быстроте лошадей, они представляли себе последних огромными животными, величиной с дом, и притом крылатыми. Но действительность скоро вознаградила их за разбитые мечты.

Зато взрослые оказались-таки обманутыми. Не в смысле пола, на этот счет все обстояло, как надо, но одна из лошадей оказалась охотницей не только до сена, но и до дерева, грызла его так, что только щепки летели, и готова была обглодать весь дом с одного угла до другого, если дать ей волю. Двое покупателей долго ходили, повесив нос; но почему же они могли знать, что лошадь грызет дома? Этого не видно было. Впрочем, они еще отомстят за себя: если порок этот передается по наследству, то из их усадьбы выйдет достаточно грызунов, которых они сумеют спустить чужакам в отместку, – можете быть спокойны!

Теперь в поселке Геста было все, чего может пожелать крестьянин. Свиной они давно наловили в лесу и поставили в хлев; у калитки заливалась лаем цепная собака; у пруда щипали траву и вытягивали шею гуси. Лошади завершили благополучие – пахари становились свободными всадниками, могли кататься и в повозках. В мастерской одного из сыновей день-деньской стали раздаваться стуки топора, прерываемые раздумьем: это он сооружает телегу и занят разрешением такой трудной задачи, как изготовление круглого колеса.

Все сыновья Геста способны к различным ремеслам, унаследовав ловкость рук от старика, как теперь волей-неволей стали называть Геста; один мастерски резал дерево, другой оказался искусным кузнецом, и все были ловкими охотниками, меткими стрелками. От матери они переняли искусство земледелия и тайны скотоводства.

Работа в усадьбах распределялась сама собой. Как ни странно, старый Гест, по натуре охотник и страстный плотник, с течением времени охладил к этим занятиям, уступив их молодым, сам же занялся рыболовством и понемногу взял это дело всецело на себя. Ему нравилось проводить время на реке одному, в том самом челноке, в котором он со Скур приплыл сюда в те далекие времена, которых не запомнили его дети и внуки.

В этом же челноке он и покинул страну. Однажды он, по обыкновению, выехал на рыбную ловлю один, и его родные видели, как он плыл, помахивая двойным веслом, повернувшись спиной к дому, лицом вперед. Назад он уже не вернулся. Сыновья отправились на поиски, но вернулись домой опечаленные, не найдя ни лодки, ни старика.

Видно, река взяла его, и течение унесло в море. Они осиротели. Скур ведь умерла за несколько

недель до этого; молодежь лишилась матери.

Она как-то вдруг разом побледнела однажды; впервые за всю свою жизнь старая женщина почувствовала себя дурно, и ее потянуло в постель, до которой она добралась без посторонней помощи, держась руками за стол и скамьи. Но когда она легла, то почувствовала себя беспомощнее, чем когда-то были ее новорожденные дети. Отяжелевшее тело, давшее жизнь стольким детям, теперь не имело жизненных сил для себя самого. Она слабо улыбнулась и поискала глазами мужа, но его не оказалось дома; коченеющими руками она потянулась за ним к дверям, подняла лицо к потолку и побледнела еще сильнее. Когда привели Геста, она была уже мертва. Всю жизнь с молодости она была неразлучна с ним, а умереть ей пришлось в одиночестве.

Гест сделал своей подруге последнее ложе из древесного ствола: большое зеленое дерево должно было разделить с нею смерть. Он выдолбил ствол наподобие челна, в печальное напоминание о течении времени – к каким неведомым берегам? – усадил умершую в челн со всеми ее вещами и насыпал над нею курган. Лучшая корова и пара коз последовали за Скур в могилу, а у ее изголовья Гест положил мешок с зерном – с чем прибыла она сюда, с тем должна и отбыть. Когда вновь прорастет и зазеленеет то дерево, в котором она захоронена, оно осенит свой листвой и ее скот, и ее поле.

Молодые семьи поселка лишились своей старой почтенной матери, матери всего населения. А Гест потерял в ней юную девушку – он никогда не вспоминал Скур иначе, как такой, какой она была в молодости. И он не в силах был оставаться там, где жила прежде она; она ушла отсюда, и он вслед за ней.

Увы, без труда плыл он теперь вниз по быстрому течению, уносившему его от той короткой счастливой жизни, которую он завоевал себе упорным трудом, – единственным, на чем держится мир.

СОЛНЕЧНЫЕ БЕРЕГА

И опять он отправился на поиски новых берегов, старый, но не дряхлый, скорбный, но не сломленный, с опустевшей душой, утратив смысл жизни, но с надеждой найти его снова в других краях.

Он был одинок, оторван от всего, что составляло сущность его жизни, и был самым собою лишь в странствии, наедине с древними, вечно одинокими волнами, с слепо глядевшими горами и долами, с безликими облаками, с немymi деревьями, с пенистыми струями молчаливой, быстро несущейся реки.

Он плыл в своем одноместном челноке вдоль балтийских берегов, добрался до материковых рек и поднялся по ним вверх, питаясь, как встарь, рыбой, но не радуясь новому свиданию; а когда дальше плыть было некуда, он высаживался на берег и становился охотником, пропадал в густых лесах, переваливал через высокие горы и разыскивал истоки новых рек по другую сторону гор. Но на этот раз он шел не на восток, не к восходу солнца, к началу всех начал, где он уже был однажды, – теперь он стремился на юг, в полуденные страны, попытать счастья там.

Его влекла смутная надежда обрести утраченное. Но в нем не угасла еще и жажда чистого знания, он все еще с первобытной жадностью устремлял взоры ввысь и вдаль – к последней горной вершине, к последней волне на горизонте.

От его внимания не ускользнуло, что пока он тысячи лет странствовал на востоке и юго-востоке, в

стороне от старого мира, последний далеко шагнул вперед в искусстве и в жизни; сам он уехал охотником и вернулся охотником, а народ свой нашел разбогатевшим от щедрот земли, на которой люди поселились, сделавшись скотоводами и земледельцами; нашел не несколько разрозненных племен, но единый многочисленный, здоровый и сильный народ. И все же Гест скоро понял, что это было лишь северное подражание культуре, которая еще пышнее расцвела где-то в иных местах на юге, откуда и была занесена на север. Никто из обитателей Зеландии не знал в точности, откуда взялись у них бронза, зерно и домашний скот; они знали только, что все эти богатства привозились с юга, откуда они и по сей день получали все то, чего не могли сделать сами: всевозможные новые предметы и новые взгляды на вещи, – так что, по-видимому, там, на юге, и был источник всех благ. Там, на юге, куда улетаели осенью перелетные птицы и где, по рассказам, царило вечное лето. Некоторые предполагали даже, что люди там вообще не знали смерти; притом вечной жизнью жили там не одни туземцы, но туда же собирались все умершие из других краев, – мудреная мысль, которую не всякому дано было усвоить. На дальнем севере жил народ, который так проникся этими чудесными рассказами о юге, что перестал предавать своих мертвецов земле по древнему обычаю, а начал сжигать их на костре, вполне уверенный в том, что умершие попадут на солнечные берега, если отдавать их во власть пламени. Иногда им даже бросали в костер перелетных птиц, чтобы те указали душам умерших верную дорогу.

Гест не знал, как ему относиться ко всему этому. Он, со своей стороны, уложил Скур в дубовую колоду-челн, считая этот способ передвижения испытанным и верным, хотя, быть может, и более медленным. Ему было чуждо представление о душе, проходящей через огонь и затем улетающей по воздуху, но он не отрицал и возможности подобного полета. Собственное бессмертие ставило Геста на твердую почву, и он разделял мнение своих современников по Каменному веку, что жить, разумеется, можно вечно, если тебя, к несчастью, не убьют или не сглазят злые люди, или если ты не заболеешь неизлечимой болезнью, что к сожалению, случается почти со всеми; исключений как будто не бывает. И опять-таки, значит, если всех этих перечисленных причин не будет, можно жить вечно! Так именно и обстояло дело с Гестом. Но ему было не ясно, как обстояло дело со смертью других людей; не была ли она в самом деле переходом к иному существованию или к жизни в другом краю? И что оставалось ему делать, как не стремиться к упомянутым берегам и увидеть собственными глазами все, что можно было там увидеть?

Страны в центре Европы были густо населены, но Гест избегал населенных мест, жил лесным странником и неуклонно продвигался, минуя все страны, к высоким горам в сердце Европы. На озерах между горами он нашел народ, живший в домах на сваях; целые города на воде, и видно было, что тамошние жители вовсе не хотят видеть у себя гостей, – мосты были заботливо подняты; но тем лучше: им, значит, надо быть очень дальнорукими, чтобы заметить его.

Очень немногим удавалось видеть самого Геста в пути. Видели его следы, крупные следы, разделенные большими расстояниями, – шаг у него был широкий, как у лося, – но самого его видели редко; он успевал уже уйти далеко, когда открывали его следы. Терялись они высоко, в вечных снегах на вершинах гор, в царстве снежных полей, под самыми облаками, где парят грифы, и никто не мог понять, куда он девался; по другую сторону гор следы шли вниз, но никто не знал, откуда они идут.

Перевалив на другую сторону гор, Гест строил себе челн где-нибудь в глуши горного леса, вблизи

ручья, обещавшего вырасти в реку; случайно слышавшие стук его топора могли думать, что это стучит какой-то чудовищный дятел, птица времени; когда же дятел смолкал – исчезал бесследно и Гест, он спускался вниз по течению, оставляя за кормою лишь быстро пропадавшую пенистую струю.

Заблудившись в горах, он попал на окольные пути, ведущие не прямо к югу. Приток Дуная понес его челн, оттуда он выплыл на эту старую, большую извилистую реку – наезженный путь древности. Здесь ходили всевозможные суда с разными людьми; движение неслыханное; не проходило и дня, чтобы Гест не увидел чью-нибудь ладью или его не увидели с чьей-нибудь ладьи; тем лучше – там, где суда трутся борт о борт, где одно с трудом ползет против течения, а другое без труда плывет по течению, там никто не обратит внимания на одну лишнюю скорлупу; мало ли стариков закидывают свои удочки в Дунае!

Никем не замеченный, именно потому, что он был у всех на виду, плыл Гест своей дорогой, одинокий и молчаливый; он пил прямо из реки мутную теплую пресную воду, омывающую на своем пути столько разных земель; он разводил на берегу в тростниках свой маленький костер и жарил себе рыбу, не похожую на ту, что ловилась на севере; у одних были чуткие, настороженные усы около рта, у других плотная чешуя – настоящий панцирь; но все они с одинаковой жадностью бросались на приманку и платились жизнью за свою прожорливость.

Трапезуя, Гест смотрел испытующим оком на вечернюю зарю, подобно многим другим старым, опытным рыбакам.

Никто не удивлялся также, видя у него в челноке арфу; какой пловец не развлекается звуками песни, жалобно несущейся по ветру, выражая глубокую тоску по родине, если пловец в чужих краях, или неисцелимую тоску по иным странам, если он на родине, где ему недостает плеска волн!..

Так Гест рыбачил, пробираясь мимо чужих стран, видел мельком всадников в ярких цветных одеждах, с конскими хвостами и птичьими перьями на голове; он видел и людей, одетых словно в полыхающее пламя и в шутовские головные уборы, слышал их неистовые крики, свист и вой, – и глубже погружал весло в дунайские волны и плыл дальше. Добравшись до Черного моря, он объехал его, гребя своим двухлопастным веслом, высадился в Малой Азии, был охотником на чужой земле, блуждал по пустыне и снова вышел к истокам реки, на этот раз – Евфрата; на кедровом челноке он спустился вниз в Месопотамию, где прожил несколько человеческих веков и стал свидетелем многих замечательных событий.

Затем он спустился в Персидский залив, обогнул с юга Аравию, вошел в Красное море, высадился на западном берегу, снова пересек пустыню, поплыл по Нилу, доехал до Египта и застрял там на несколько веков.

Наконец он снова выплыл в Средиземное море, объехал все его берега и острова, не пропустив ни одного. По всем признакам, он попал именно к Солнечным берегам и поэтому оставался здесь, пока не разведал все их тайны. Какие богатые края!.. Ни одно туманное сказание туманного севера не давало настоящего представления о синеве здешнего южного неба, вечно лазурного; жить здесь было блаженством, и в этом благодатном воздухе расцветал один счастливый и искусный народ за другим. Гест следил за их светлым жизненным путем и всем сердцем сочувствовал их судьбам.

Он видел сильных воинственных людей в Междуречье, их беззаветную храбрость в боях и трудолюбие, их сложные водопроводы для орошения почвы и поднятия урожая; то же самое видел

он и в Египте и узнал теперь, откуда впервые появилось зерно.

На реке Нил жили почитатели быка, как и на острове Крит; отсюда произошли или здесь были приручены все домашние животные; отсюда совершила на поводе у человека длинный путь на север овца, пока не очутилась в заносимом снегом земляном хлеву, где терпеливо выстаивала долгую зиму, одевая своей шерстью безволосых северян. Вот почему баран по вечерам бормочет что-то себе под нос – жалуется на свою судьбу. По горам средиземноморских стран карабкается дикий козел, а домашний, на севере, выискивает на кочковатом лугу кочку повыше и стоит на ней, сдвинув все четыре ножки вместе, словно на высочайшей вершине, и озирается вокруг, не боясь головокружения. Гест видел, как начинания этих первых богатых народов продолжались и развивались, пышно расцветали у счастливых греков, для которых как будто не было ничего невозможного и которые не знали границ радостям жизни.

Давно уже на пути своем к югу Гест встречал искусства и ремесло, совершенно неведомые на севере; то, что там было лишь обрывками или зачатками, здесь, на юге, он встречал в виде цельных и стройных древних культур – так медленно шло все новое с юга на север. Железо давно уже вошло во всеобщее употребление здесь, на юге, тогда как на севере все еще довольствовались бронзой; здесь строили мраморные храмы и украшали их прекрасными подобиями людей, в то время как в Дании все еще окропляли жертвенной кровью закоптевших в дымных землянках идолов – грубо отесанные чурбаны с подобием головы.

И все-таки и там, и тут жили люди, происходившие от одного корня. Гест прошел уже по следам бывших лесных людей доледникового периода, ставших людьми Каменного века и в своем продвижении к востоку достигших самых крайних морей света; теперь он шел по следам ледниковых людей на юг, только так сильно отстал от них, что они успели измениться до неузнаваемости, стать совсем другими людьми, богаче и счастливее.

Это были потомки закаленных холодом людей, потомки Дренга и Моа, Видбьёрна и Воор; одни из них двигались к югу, волна за волною, в то время как другие оставались на севере; и от этих первых храбрых и веселых мореплавателей, оставивших о себе сказочные воспоминания на греческих островах, произошли греческие боги и герои.

Ведь все то, что на севере сковывалось холодом, суровой природой и нуждой, на юге расцветало пышным цветом счастливого свободного искусства. И как большая волна, набегая на берег, посылает назад в море мелкие отраженные волны, так и волна счастья и удачи переселенцев дала отраженную волну назад, на север, которая пробудила там скованные силы и дремлющие души; и они тоже устремились к югу, чтобы расцвели там. Так культура вернулась с юга на север, где был ее древнейший корень.

В средиземноморских странах взлелеяли культуру благоприятные условия, не повторявшиеся нигде в мире, – здесь сталкивались и сливались племена трех различных частей света: из Европы шел сюда северянин, чтобы расцвести, с востока – азиат-кочевник, чтобы осесть, из Африки – знойные первобытные племена, искавшие прохлады; сливаясь, они сообща развивали свои силы и способности и достигли того расцвета красоты, который нашел выражение в греческой культуре, никем не превзойденной. Памятником счастливого народа, жившего на блаженных берегах, на вечные времена осталось изваяние нагого человека из белого мрамора на лазурном фоне – грек под голубым небом Эллады! Расцвет был так пышен, что художественное выражение его пережило все

времена, сохранило свою власть над умами даже после того, как вызвавшие его условия жизни перестали существовать и не могли больше питать его.

Гест видел и шествие римского солнца по небосклону, плывая по Тибру бедным, безвестным рыбаком, в то время как мимо него сновали императорские галеры, огромные чудовища с тремя рядами весел, двигавшихся взад и вперед одновременно, наподобие ног; на каждом весле сидел прикованный цепью раб, и Гест тихо ускользнул из Тибра на своем старом дубовом челноке, когда народ бунтовал на улицах разлагавшегося Рима.

Теперь он уж надеялся вскоре достичь цели, ради которой странствовал так бесконечно долго. Но его надежды не оправдались. Чем дальше пробирался он вперед, тем больше убеждался, что цель недостижима. Он ведь отправился искать берег умерших, а нашел вечное лето, дивно прекрасные места, воплотившие мечты в жизнь, неувядающую природу, но нигде не нашел умерших.

Тогда он подумал, что они, пожалуй, избрали своим местопребыванием какой-нибудь остров, оберегаемый морем от посторонних посетителей, и поэтому особенно усердно обыскал все острова на Средиземном море, а их было много; но на всех обитали молодые, недавно сложившиеся народы самого земного вида. Не везде его встречали одинаково радушно; жители некоторых уединенных островов, не отличавшиеся благопристойностью, заранее сбегались на берег, точа свои ножи о скалы, служившие им и жилищами, и точильным камнем; это, конечно, не свидетельствовало об их большом уме, так как тем самым они наводили чужестранца на подозрения и заставляли его вовремя повернуть назад. Гест вовсе не ожидал, что умершие явятся ему в образе светлых духов или выкажут особенную сердечность; он ожидал увидеть их такими же, какими они были при жизни; и хотя никто не сомневался в том, что умершие могут быть опасными и свирепыми, каждому было все-таки ясно, что они не станут хлопать себя по ляжкам и непристойно грозить мореплавателю в порыве досады на то, что он повернул назад, не пожелав заехать к ним. Это были люди, самые обыкновенные люди, не очищенные смертью.

То же самое можно было сказать о более развитых жителях больших населенных островов. Все они были молодыми, свежими побегими человечества; жадно раскрыв рот, они ловили всякие басни, сами болтали без умолку, были большими любителями меновой торговли и рабынь. Нет, они были слишком живые; этот остров не мог быть островом мертвых.

В конце концов Гест отыскал маленький островок, заброшенный далеко в море и необитаемый; это было не то, что он искал, но это был последний остров, больше не на что было надеяться, и он остался здесь со своими воспоминаниями.

Остров высывался из воды подобно вершине горы, затонувшей в глубине морской под вечно лазурным небом; самая вершина напоминала плоскую разбитую чашу; это был потухший кратер, поросший лавандой, в которой стрекотали кузнечики. В одной из расселин между скалами густо переплетались лавры и мирты, а около небольшого ручья выросла рощица рожковых деревьев, плодами которых питался Гест. Спал он, защищаясь от ветра, под навесом скалы. Любовался ящерицами, резвившимися на камнях. На отвесных скалах высаживали яйца морские птицы, целый день перебраниваясь между собой. Это звучало, как музыка арфы, которою было само море, окружавшее остров. Иногда вдали показывался парус, но лишь для того, чтобы повернуть и снова исчезнуть вдали. Дельфины кувыркались в прозрачной, глубокой воде возле самого острова, почесываясь о выступы скал, отфыркиваясь и снова ныряя. На острове было тихо. Гест время от

времени беседовал сам с собою, покачивая головой. Здесь было хорошо.

Гест высек в скале нишу с колоннами и с затейливым портиком над ней, наподобие маленького храма, – работа многих лет, но времени у него было достаточно; в храме он поставил маленького идола греческой работы – женскую фигуру, единственную женщину, которую он любил на этих берегах.

Греческие девы были одинаково прекрасны и тогда, когда они словно излучали священный покой из складок своих длинных хитонов, и тогда, когда они в святом неистовстве выбрасывали ногу из-под хитона и ловили согнутым коленом бога вина; во многом можно было их винить, в одном лишь они не были повинны – в безобразии. Гест всех их созерцал с наслаждением, все они радовали его взоры и душу; но любил он только одну, и та была не живая, а из обожженной глины, величиной меньше локтя; ее он и поставил в скалистой нише над своим жильем и ей одной молился ежедневно – единственной, вечной и неизменной... Это была стройная, тонкая, юная дева с тонкими крепкими ногами, совсем нагая; одежду свою она положила рядом на вазу, а руки подняла, готовясь завязать волосы перед тем, как пуститься в бег; она – легконогая, быстрая, как пламя, как ветер, она – вихрь, она – воздух, она – женщина, она – юность!..

Этим поклонением Гест тешил свое сердце. Но это не примиряло его. Прожив здесь несколько веков, прислушиваясь к голосам моря, неба и собственной души, ожидая, что скажет он сам после долгих лет безмятежного созерцания, он убедился, что хотя и избрал себе в удел одиночество, но это был не совсем добровольный выбор – скорее одиночество выбрало его. Он остался один потому, что все ушли от него. Но не сам ли он когда-то бежал оттуда, где ему следовало остаться?..

Да, вот они – итоги жизни: сперва идешь впереди, потом остаешься позади. Молодым охотником ушел он от жизни, а когда созрел и нашел свое место в мире, жизнь убежала от него.

Он долго жил; но к чему ему бессмертие, если он не мог разделить его с другими?

И вот Гест спокойно, обдуманно зажег свою свечу второй раз в своей жизни, чтобы умереть. Ему не хотелось больше жить.

От свечи оставался лишь маленький огарок, который быстро догорал. Гест чувствовал, как он дряхлеет по мере того, как сгорает свеча, и это уменьшало его муку.

Он зажег свечу при дневном свете, но она озарила все кругом еще более ярким – неземным – светом; он сидел в освещенном круге и вновь переживал все, что было в его жизни; прошлое вернулось к нему и слилось с настоящим. Пиль и Скур были с ним, слились в один образ с пленительной любящей улыбкой; была с ним и мудрая мать его Гро, воплощение всеобъемлющей любви; и все его дети; время и расстояние не разделяли их; он снова переживал свое детство, юность и зрелость, он словно ничего не потерял, словно и не был одинок; истина была в нем самом и только в нем: его бегство было несущественно или даже его вовсе не было; он никогда не расставался с родиной!.. Он – дома!.. И тут к нему вдруг снова вернулась жажда жизни. Нет, ему еще рано умирать, от свечи остается еще порядочный огарок, и Гест быстро нагнулся и погасил свечу.

Когда она погасла, он очутился в темноте и ощутил вокруг себя другой, более холодный, освежающий воздух; вместо шума моря слышался шелест листвы высоких деревьев; над его головой слышалось пенье птиц, но каких-то других.

Медленно рассеялся мрак, и он увидел себя не на скалистом островке в лазурном Средиземном море, а в лесу с высокими деревьями, над которым нависло низкое небо с быстро несущимися серыми

тучами.

Он опять в Зеландии; стоит осень; в сквозных верхушках деревьев хозяйничает буря с громким вызывающим воем; весь лес охвачен пожаром листопада; вороны и галки с карканьем кружат в воздухе; разбитые ветром стаи чибисов опускаются на землю и пытаются снова собраться под защитой холмов. Это один из тех дней, когда птицы собираются в стаи и улетают из здешних мест; лес трещит, холодный ветер со свистом рыщет меж стволами деревьев, проникая во все укромные лесные уголки. Строптивый дух природы всем своим холодным телом повис над померкшей, беззащитной Данией. Быстро бегущие облака на миг разрываются, и в прореху проскальзывает холодный луч света, бледный отсвет озябшего испуганного дня, словно оглянувшегося разок на бегу. Ах! Гест облегченно вдыхает свежий ветер, бодро встречая осень, он дома! Погода меняется, клонит к зиме, но он останется здесь, он не боится зимы.

БРОДЯЧИЙ СКАЛЬД

Бывало, зимним вечером послышится за дверью странный смешанный звук, сливавшийся со свистом ветра в дверных щелях и с его завываньем снаружи, – музыка?.. Норне-Гест!.. И, когда дверь отворяли, он в самом деле стоял на пороге, освещенный пламенем очага на фоне густого уличного мрака, высокий и согбенный, словно на плечах у него сидела сама ночь, с ног до головы закутанный в шкуры, с арфой в руках. Норне-Гест посетил дом.

Стоило ему провести рукой по струнам, чтобы вокруг засияли солнце и звезды и весь дом ожил; молодежь толпилась в дверях, горя нетерпением, и сам хозяин, которому достоинство не велит трогаться с места, не может совладать с собой: глаза его блестят, он встает и идет навстречу. Гест посетил дом.

Длинный, тяжелый, суковатый посох Геста ставится на отдых в угол, а самого его вместе с арфой сажают за стол на почетное место, рядом с хозяином. Сказка и жизнь внешнего мира вторгаются в тот вечер в усадьбу и гостят там долго, пока удастся ласковым словом, рогом, полным меда, и мягкой пуховой постелью удержать скальда в доме.

Все знали, что дольше известного срока его нельзя уговорить остаться; даже просьбы детей ничего не могли поделать. Дорожный посох его стучит по ночам в своем углу и совсем искривился от нетерпения снова пуститься в путь, – говорил Гест; пусть сами поглядят, вон он какой кривой; надо Гесту скорее в дорогу, чтобы снова распрямить свой посох! Так отшучивался он, и в один прекрасный день снимался с места; высокая фигура с арфой за спиной исчезала за калиткой усадьбы; он шел медленно, не торопясь, но все диву давались, как быстро он двигался по дорогам. Гест уходил.

Через полгода, а то и через год, арфа его снова звенела за дверью. Он приходил и уходил, столь же непостоянный и столь же неизбежный, как времена года.

Гест стал странником, вечно переходил с места на место, подобно нормам; стал скитальцем, не имевшим собственного очага. Это вышло само собою, когда он вернулся на родину. У него больше не было своего дома, но он стал другом и желанным гостем всех домов, а так как не мог жить разом во всех домах, то и посещал их поочередно. Круглый год проводил он в пути, обходя Зеландию; но выпадали годы, когда он вовсе не показывался, – тогда он бывал в чужих землях, на юге или же в Швеции и Норвегии. И когда несколько лет спустя он снова появлялся, арфа его оказывалась еще богаче звуками, чем прежде, и не было конца его рассказам. Сам он был бездомный, но все песни и

сказания мира находили приют в его памяти.

Вернувшись на родину из своего долгого путешествия на юг, где он тщетно искал остров мертвых, Гест остался один, на этот раз его не разбудила юная улыбающаяся пастушка и не спросила: что это за гость? Он был один в лесу. Спустившись в родную долину, он едва узнал ее, его же самого никто не узнал. Это была родная долина, но она сильно изменилась.

Тысяча, а то и больше лет пронеслись над ней с тех пор, как Гест покинул ее в последний раз; даже самые старые нынешние дубы не были еще желудями, когда Гест уехал; все деревья стали другими. И поколения были другие; у них даже не сохранилось живых воспоминаний о тех поколениях, от которых они произошли; но все-таки это был тот же народ; в нем возродились рослые, рыжие рыбаки Каменного века и дюжие землепашцы Бронзового века, но предания этого народа не восходили даже до Бронзового века; живя в Железном веке, люди не имели никакого представления о том, что когда-нибудь на свете жилось иначе.

Они не знали, кто покоится в сложенных из огромных каменных глыб могильниках Каменного века, хотя там покоились их праотцы; они воображали, что эти могильники воздвигнуты великанами или что это жилище подземных духов. Сами они до сих пор насыпали над своими мертвецами курганы, но уже не сжигали их, как в Бронзовом веке; они больше не верили в огонь, составив себе более сложные Представления о верховных силах бытия; они уже не обожествляли силы природы, но имели человекоподобных богов, немало походивших на своих почитателей. Они делали изображения этих богов, не замечая того, что этим как раз обнаруживали все свое бессилие. Гест никак не мог стать поклонником Одина, но продолжал по-прежнему верить во времена года.

Не мог он понять и господствующих представлений о загробном мире; люди, по-видимому, верили в два разных мира – хороший и плохой; но в хороший попадали не тем путем, который обеспечивал долголетие здесь, на земле, а, наоборот, путем быстрого пресечения жизни, притом насильственного, – в бою; только воины, павшие смертью храбрых, могли наверняка рассчитывать на то, чтобы их приняли в хороший мир, о местонахождении которого были только общие, более или менее приукрашенные представления; точного пути туда указать никто не мог. Тем не менее мертвым давали с собой в могилу кое-какие необходимые предметы, так что древняя вера в бессмертие была еще жива, но только в обрядах; ее разделял и Гест, считавший, что умирать вовсе нет необходимости и надо жить, пока живется.

Новая вера имела кровавое влияние на нравы в долине; люди больше дрались, жизнь человеческая ценилась низко, потому что ее истинный конец полагался в ином мире, откуда никто никогда не возвращался, чтобы подтвердить предположения; но так как благородная будущая жизнь требовала благородной смерти, то люди убивали друг друга с радостью, уверенные в будущей встрече для нового взаимного истребления и воскресения; внезапная насильственная смерть казалась большинству высшим счастьем и честью, тогда как мирная кончина покрывала человека позором и вела его в другой мир, черный и мрачный. Долговечность, которой, казалось, всем надо было желать, считалась несчастьем; Гест поэтому не любил распространяться о своем возрасте; да это, конечно, никого и не касалось, кроме него самого. Он не стал убежденным приверженцем воинственной веры северян, но охотно использовал ее для своих песен, как скальд.

Редко, однако, человеческой природе удастся избежать противоречий. И эти храбрые северяне, хоть и рвались к смерти в бою, в надежде на загробное продолжение битвы, все же всячески старались

затруднить задачу своим убийцам; тело защищали панцирями, бронями и кольчугами, которые не могли пробить ни меч, ни копье, а головы прикрывали шлемами и огромными щитами; требовалось особое искусство, чтобы через такие прикрытия добраться до внутренностей противника. Но изобретательность не дремала: чем крепче делались доспехи, тем острее и беспощаднее ковалось оружие; люди разили друг друга огромными, тяжелыми копьями, рубили закаленными мечами, словно дровосеки деревья, сшибались между собой с грохотом и треском; далеко разносился вокруг лязг железа о железо.

И воинов стало много, ужасно много, не то что прежние кучки селян, которые шли друг на друга стеной или вызывали желающих на единоборство; поединки устраивались и теперь, но рядом с этой старинной формой войны возникла новая, которая и создала новое общественное сословие, оттеснившее на задний план землепашцев, – войско. Но это произошло в связи с другими важными переменами в Зеландии.

В сущности, все они имели в основе своей одну важную причину – прирост населения. Родная долина Геста была так густо населена, что можно было пройти ее всю от моря и далеко в глубь страны, на что уходил почти целый день, и ни разу не очутиться в одиночестве; приезшему или проезшему все время попадались люди – независимо от того, было ли ему это в утешение или в тягость.

Этот прирост населения прежде всего отразился на лесе, который теперь во столько же раз поредел, во сколько увеличилось население. В Бронзовом веке пашни врезывались в лес с обеих сторон долины, образуя большие прогалины; теперь лесных участков было не больше, чем прежде вырубленных мест, и они островками выделялись среди моря возделанной земли, аккуратно разгороженной на отдельные пашни каменными оградами и увенчанной по окраинам, на голых холмах, могильными курганами.

Лишь далеко, в глубине страны, виднелась сплошная полоса леса, терявшаяся в середине острова. Но даже и там, в самом сердце лесной области, открывались прогалины, расчищенные от деревьев, пущенные под пашни или луга; это были зачатки новых поселков, здесь осели переселенцы. Из прежних, разбросанных по долине усадеб выросли деревни с общинным землевладением, связывавшим между собою когда-то родственные семьи.

Почти у самого устья фьорда расположился город с гаванью, полной ладей. Город был небольшой, всего в одну улицу с домами, крытыми соломой, но жил он своей особенной жизнью: тут не было ни крестьян, ни воинов, а каждый занимался каким-нибудь ремеслом или торговлей. Народ жил тут тихий и осторожный, никого не обижавший, – вольноотпущенные из рабов или чужеземцы, полезные и незаметные люди; они смиренно сидели в своем городе и были довольны тем, что посылала им судьба.

На верхнем краю долины, противоположном городу, жил ярл. Кто же это такой? Если спросить об этом местных крестьян, то уже по их тону можно было судить, что ярл персона важная: столько почтительности вкладывали свободнорожденные люди в свой ответ. Хозяевами должны быть, конечно, они, бонды, но надо же было признавать кого-нибудь и над собой! Иметь вождя на случай войны и сборщика податей в мирное время. Подати? Какие, за что? За пользование землей. Кому же? Конечно, королю. Король жил на берегу Роскиллского фьорда и не мог лично управлять всем островом, а ему полагалась десятина с каждого двора; вот он и сажал ярла для охраны своих прав, и

таких ярлов было много на острове, по одному в каждой области. Родом они были те же бонды, только поважнее, из тех родов, что опередили других, успели захватить себе много земли, выстроили себе большие дворы и обзавелись большим хозяйством; это давало им возможность содержать много людей для охраны своего имущества и приобретения нового. Сам король принадлежал к одному из самых старых и сильных родов, дававших ярлов.

Ярлу, жившему на верхнем конце долины, принадлежали все окрестные луга, большой участок леса и много дворов. Самый большой занимал он сам со своей воинской дружиной, которая ничего больше не делала, кроме как воевала да показывала свою силу, готовая взяться за меч по всякому поводу и без повода и уверенная, что не попадет туда, куда отправляла свои жертвы мирная смерть. Откуда взялась дружина? Набиралась она из сыновей тех же бондов; сыновей рождалось много, и не всем хватало родовой земли, вот они и поступали на службу к ярлу или к самому королю или выбирали себе какого-нибудь вождя, садились в ладьи и уезжали на поиски земли туда, где ее было много и получить ее было легко – после смерти владельцев, которую пришельцам ничего не стоило ускорить. Это было войско.

Ярлы сами не обрабатывали земли, на то у них были батраки – крестьяне, не имевшие собственной земли, жившие в усадьбах ярлов и зависевшие от них; ярлы занимались военным делом, служа королю, проводили время в пирах да забавах по чужеземному образцу и обвешивали серебряными украшениями своих жен и дочерей, которые все как на подбор были красивы и привлекательны. Чаще всего ярлы в мирное время занимались охотой в своих лесах, не ради прокормления, а просто для удовольствия; все они были любителями лошадей и охотились всегда верхом; держали собак, которыми травили дичь, трубили в рога и оглашали лес оглушительными криками, лошадиным топотом и многоголосым лаем собак. Загонщики колотили по деревьям и кричали, а прекрасные жены ярлов тоже скакали галопом; сидя на конях боком, словно не могли раздвинуть ног, разодетые в шелк и держа на руке сокола. С виду все это было очень красиво и очень весело, но старый, бывалый охотник только головой качал – он привык охотиться в одиночку, не нарушая лесной тишины, когда хотел добыть себе пропитание. Положим, на то и олени, чтобы их травить, но весь этот шум и гам?.. Несколько десятков крикунов, да еще большей частью верхом, гонятся за одним испуганным оленем!.. Вслух, конечно, никто ничего не скажет – ярл человек сильный, – но вечером, закусывая копченым салом, можно было недоуменно покачать головой: как свет переменялся! Из всех блестящих охотников самым блестящим был король. Он пользовался правом охотиться во всех лесах. На королевском дворе была собрана самая отборная дружина – сыновья из лучших родов вольных землепашцев – и стоило ему объявить поход, как все ярлы немедленно должны были явиться к нему со своими дружинами и крестьянским ополчением, подвластным королю. Так бывало в случае войны, когда дело шло о покорении чужой страны и превращении ее крестьян в подданных короля. Все реки в стране и проливы между островами принадлежали королю; он разъезжал по ним со своим флотом или делал набеги на соседние прибрежные страны в отместку на набеги, учиненные на его берега соседями.

Даже то право общения с божественными силами, которое прежде было все-таки доступно каждому в отдельности, теперь принадлежало лишь сильным мира сего. Жертвенное возвышение находилось в усадьбе ярла, сам он был вождь и жрец, и все жертвы богам шли через него. Но самым главным вождем и верховным жрецом был опять-таки король; можно было даже подумать, что он-то и есть

бог своей собственной всемогущей персоной.

Да, вот как сложилось общество и само собою расположилось слоями – один над другим.

Посередине по-прежнему находились бонды, хоть они уже и не были тем, чем были прежде; они были господами от отношению к рабам, которые, в свою очередь, давали скотине чувствовать властную руку человека, добрую или злую в зависимости от настроения. Над бондами стоял ярл, которому охотно платили подати, чтобы сохранить его расположение. Но стоило сравнить ярла с королем, когда они бывали вместе, и видно было, что хоть они и ровня, да один-то все-таки повыше. Глаза ярла глядели высоко, но все же не поднимались выше подбородка короля, а король глядел поверх головы ярла, окидывая взглядом всю страну. Так, стало быть, полагалось.

И вот между ними всегда бродил старый Гест, и всюду его принимали одинаково радушно, а он всюду чувствовал себя как дома. Во время своих скитаний он заходил и в город у фьорда; скромные горожане встречали его радостно, как старого знакомого, как встречают аиста весною. Гест радовал их своими песнями и видениями, спал под их кровом и находил неподдельную ценность жизни в их любознательных детях; он посещал места их работ и внимательно присматривался к их ремеслам; никогда не надоедало ему наблюдать работу корабельных плотников – наследие, в которое было вложено много сил и ума прежними поколениями; он раздувал мех кузнецу, поддерживая в нем вздохи и охи, слушал свист пламени, разверзающего голубые бездны, и следил за тем, как кузнец сбивает с железа шлаки, прежде чем приняться за ковку. Привлекала его и работа бондаря, не хотелось ему уходить и от столяра, в мастерской которого так чудесно пахло свежим деревом; многое рассказывали ему и товары мелочных торговцев.

Гест заходил и в землянки рабов на задворках и проводил там целые дни, к удивлению свободных обитателей усадеб. Обнаружилось, что он наблюдал там за работой женщин и девушек, вертевших жернова, и частенько помогал им, присоединяя силу своей негнущейся стариковской руки к гибким взмахам молодых, сильных женских рук; смотрел, как солод зерном сыпался на жернов и мукой струился с камней; вдыхал аромат зерна, от которого пахло летом, – когда его мелют, оно издает дурманяще сладкий, солнечный аромат, – и, случалось, слагал под скрежет жерновов песни в честь солода и солнца, которые потом передавались из рода в род, храня чувства, волновавшие его сердца. Его видели и в хлеву у доярок, где он слушал, как брызжут молочные струи в подойники, и где угощали парным молоком прямо из-под коровы; люди порою подшучивали над стариком, который прячется в сумерках с девушками по коровникам и на мельнице, но Гест кротко принимал шутки; он знал цену людям и себе самому. Увы, все эти милые толстоногие феи хлевов годились ему в дочери!..

Из презренных жилищ рабов Гест отправлялся в усадьбу и Держал себя бондом между бондами; он толковал о скотоводстве и ел кашу из одной чашки с сыновьями хозяина; в гостях у ярла он с достоинством выпрямлялся и держал голову высоко, беседовал с его детьми и ласково задерживал ручонку меньшого в своей большой руке, чувствуя, как тепло юной крови передается его жилам, – словом, входил в жизнь своих хозяев и здесь, как везде; в королевские палаты он вступал, как старый родственник, и вырастал в них, как скальд, – под стать всему окружающему величию; король высоко чтил его, и полновеснее золота были те строфы, которые Гест в честь короля положил на чашу весов времени. Кто знал бы о славе Рольфа Краке, не будь у него скальдов? Гест бывал у него, как и у прочих королей, о которых рассказывают саги: и у Карла Великого, и у варягов на Руси, и у сыновей

Гунхильд; побывал он при всех дворах Европы со своими сказаниями и своей арфой.

Никто не замечал, чтобы он старился, никто вообще не обращал внимания на его возраст и не знал, сколько ему лет, потому что он жил с незапамятных времен, и слава о нем шла из рода в род. Пока Север был Севером, он жил там.

Всем, разумеется, было ясно, что старик очень стар. У него были свои привычки, которых он не мог перенять ни у кого из современников. Старый бродяга не любил сидеть в четырех стенах, даже в самых богатых домах; насколько было возможно, он предпочитал ночевать на дворе даже в холодные дни; и была у него еще одна странность: старик никогда не присаживался к чужому очагу, а всегда разводил свой собственный, маленький, одинокий костер под открытым небом и грел над ним свои руки. Он сохранял вкус к простой пище, охотно довольствовался горстью сырых зерен и глотком воды; у него были очень умелые руки, но он явно не любил пользоваться хорошими современными орудиями, довольствуясь старым, стертым ножом, а часто даже попросту брал первый попавшийся камень и скоблил или резал им.

Арфа у него была самодельная, разукрашенная резьбой, прочная, пригодная для скитаний в любую погоду. Сделана она была из довольно толстого сука, от которого шла ветка под прямым углом; сук был выдолблен, и между ним и веткой были натянуты струны; их было много, и каждая звучала по-своему, заключая в себе целый мир. Даже когда Гест слегка проводил рукой по струнам, задевая их по очереди, от самой длинной до самой короткой, – это звучало как восхождение по небесной лестнице, как музыкальная радуга, улаживавшая слух; но он просто очаровывал слушателей, когда искусно перебирал струны, извлекая из них звуки, открывавшие сознанию целые миры, проникавшие в самые сокровенные глубины сердец. Арфу Норне-Геста любили, но и почти боялись. Самыми любимыми из его песен были песни о Вельсунгах, древние, дикие и темные песни из эпохи великого переселения народов; сага приписывает эти песни Норне-Гесту; между переселением народов и участием в нем Геста есть особая связь, о которой будет сейчас рассказано.

Первые люди шли по следам дичи, как охотники и рыбаки, и таким образом расселялись по поверхности земли. Став скотоводами, они продолжали кочевать, переходя с одного пастбища на другое; и только становясь земледельцами, они оседали на земле, оставались там, где вызревало зерно; с этих пор они кочевали только за плугом, запряженным парой волов, – взад и вперед по бороздам пашни; если миру было что-нибудь угодно от них, то пусть пожалует к ним, – они люди оседлые, пахари; расцветом их эпохи был конец Каменного века и весь Бронзовый век с возникновением семьи, усадеб, тихих и богатых долин, прятавшихся в лесах.

Но вот появилось железо, лес стал падать под ударами острого жадного топора, страна обнажилась, поля стали кормильцами населения, а оно так размножилось, что пашен перестало хватать на всех и люди обратили железо не только против леса, а и друг против друга, сея кровь и пожиная войну; меч одолел плуг, и люди, обращавшие прежде свои лица внутрь страны, к ее сердцу, обернулись теперь лицом наружу, подобно волнам прилива, достигшим высшей точки и кругами разбегающимся назад. Мир пришел к пахарю, а воин устремился в свет. И опять началось странствие. Северные викинги хлынули на юг. Об этом рассказано в „Корабле“!

Вслед за падением Оима все германские племена в Европе стали сниматься с насиженных мест, где успели накопить сил, и уходили на новые места, встречаясь, сталкиваясь, дробясь или сливаясь между собою и с другими племенами, перекатываясь через них или пробиваясь под ними, как

тронувшиеся весною льдины; это и было то великое переселение народов, о котором в истории сохранились лишь скудные, полуфантастические сведения, хотя ничего не могло быть проще, естественнее.

Говорят, что толчок к великому переселению был дан повелителем гуннов Аттилой, вторгшимся в Европу из Азии, и толчок этот передавался от одного народа к другому, так что никто не остался на месте; причина, однако, была древнее и глубже; Аттила же дал повод к столкновению Азии с Европой в общем водовороте великого заката богов средневековья и дробления рас; и НорнеГест был свидетелем этого бурного процесса.

Гест участвовал в переселении народов, как человек, увлеченный вихрем; он созерцал бушующие стихии, но сам оставался спокойным. Он впитывал всем своим существом все волнения и стихийные перевороты и примерял их к себе, претворял в поэзию; он бывал и на севере, и на юге, и на востоке, и на западе; душа его была по-ребячески наивна и по-стариковски мудра; сам он уже обрел внутренний покой, не бурлил больше, но он излучал силу – совокупность всех впитанных и претворенных им сил: на то он и был скальд! Он-то и поднял с места Аттилу. Явившись к его двору в близлежащих местностях Азии, Гест спел ему о Европе, о ее князьях и королях. С любопытством, но без волнения слушал повелитель монголов. Тогда пропел ему Гест о северных красавицах и чуть не заплатил жизнью. Слушая песни о рослых, белокурых, свободных дочерях Европы, Аттила вскипел и словно одичал, заметался и рявкнул своим телохранителям, чтобы они отрубили певцу голову: нестерпима была для него мысль, что какой-либо другой муж мог видеть и знать то, что воспевал Гест. Но затем вдруг смягчился и отозвал телохранителей – ему захотелось послушать еще; и он дослушал все песни до конца, подпрыгивая на месте, сверкая глазами и фыркая, как конь; ничем нельзя было успокоить его.

Его исступление передалось его войску, тысячам азиатов; они ринулись из своих степей и перевернули все царства в Европе. Аттила желал обладать всеми женщинами севера, приказывал приводить к себе дочерей бондов, целые толпы прекрасных пленниц; но они не были благосклонны к нему. Он брал их в жены насильно, осыпал их драгоценностями, драгоценными уборами, кольцами и браслетами, выкованными из золота, и приказывал убивать их, если они принимали его холодно и отказывали ему в улыбке; но они оставались холодными и суровыми, хотя он знал, что душа их горяча и нежна, когда они любят; стало быть, они не хотели любить его. Они застывали в своем упорстве, бледные и немые, равнодушно встречая свою судьбу, перенося свою участь, как перенесли бы всякое горе или беду, пренебрегая жизнью, но никогда не сдаваясь, точь-в-точь как их ненавистные рослые мужья, братья и отцы, которые только смеялись над черномазым карликом, когда он одолевал их, послав двадцать своих воинов против одного противника; он сдирал с них живую кожу, но ничем не мог сломить их.

Деспот наткнулся на препятствие. Он брал сотни северных женщин, но не имел по-настоящему ни одной, потому что они не желали его. Чтобы понравиться им, ему надо было переродиться, перестать быть Аттилой. Вот он и пронесся над Европой, как смерч мщеника, сметая и сжигая все на своем пути, потому что не мог стать иным. Наконец одна умная и проницательная женщина, дочь бургундцев Ильдико, замыслила его гибель: она притворилась, что желает отдаться ему, – первая добровольная жертва! – и задушила счастливого жениха своими косами в первую брачную ночь! Долго не могло улечься волнение, вызванное бурей страсти повелителя гуннов. Подоспели новые

трагические моменты: встречные волны Азии и Европы, раз придя в движение, не могли улечься, пока не смешались между собой, не разбились друг о друга и не стали вновь самими собой, хотя и видоизменились. Великие, цельные, трагические натуры при этом погибали. Власть золота уничтожала узы дружбы и крови – клад Нибелунгов, – алчные мужчины и женщины, унаследовавшие злобу и свирепость отцов, истребляли друг друга, как повествует Эдда.

Братья вступают

В распрю друг с другом,

Дети их рушат

Кровные узы.

Нет никому

Мира, пощады.

Мир стал жестоким,

Блуд вошел в честь.

Меч и секира

Щиты разбивают.

Вот он, век бури,

Вот он, век волка, —

Скоро мир сгибнет!..

Да, уже в те времена ожидали конца мира!

Гест скитался в вихре кровавых бурь переселения народов. Памятью о них оставалась сага о Вельсунгах – словно завывание ночи за дверьми, когда умолкают дневные голоса.

Свои последние годы Норне-Гест провел в Норвегии, где природа показалась ему свежее и моложе. Ему по душе была свежесть молодых трав на старых черных скалах; детство как будто приблизилось к нему на старости лет.

Он жил своими воспоминаниями и путался в них, погружался в себя, впадал в забытие, подобно дереву зимой, потерявшему листья. Как далеко ушло лето, как далеко ушли дни юности!

Свои лучшие, ранние воспоминания о том времени, когда он и его подруга Пиль делили дерево с белкой, сливались в его представлении с мифами других поколений – поколений, ушедших так же далеко от своего первоисточника, как и он, и так же смутно помнивших свое прошлое – мифом об Игдрасиле, великом древе жизни.

Само воспоминание похоже на дерево, коренится во времени и растет вместе с ним, становится все больше и пышнее. Чем старше и богаче душа, тем более яркий свет бросает она назад, на то, что было вначале. Вот почему, созревая духом, мы так страстно тоскуем о прошлом, о том, чем обладали, но не умели ценить, пока было время, а теперь уже поздно, все безвозвратно утрачено.

Из древней саги о Норне-Гесте мы узнаем, как он пришел к королю Олафу Трюгвесону и крестился у него незадолго до своей смерти.

Гест принял крещение по совету короля Олафа и потому, что рассказы монахов о будущей жизни показались ему правдоподобными. Гест долго искал что-то по всему свету, а искать-то не надо было так далеко; насколько он понял, искомое было совсем близко, рядом, лишь смерть отделяла людей от него. И недалеко уже время водворения на земле царства небесного – тысячный год близился, а с его наступлением связывали и наступление этого царства. Тогда прекратятся всякие войны и распри, не

будет больше убийств, не будет кровопролитий из-за драгоценностей, из-за похищения женщин, не будет ненависти, нужды и горя, беззащитные обретут мир, настанет царство мира и справедливости! На все эти рассказы Гест кивал головою, свесив подбородок на грудь, глядя долу мудрыми гаснущими очами, – разве это не то же самое, на что и он надеялся? Легко умирать, когда тебе обещают такое дивное царство...

И он вынул из углубления в арфе сохранявшийся там огарок свечи и передал королю, чтобы тот зажег его, а сам лег навзничь и, скрестив руки по указанию монаха, приготовился к смерти.

От свечи оставался лишь небольшой огарок, и он быстро таял. Присутствовавшим в зале свеча казалась самой обыкновенной; ее крохотное пламя тонуло в зареве костра, разложенного на полу и наполнявшего потолок тенями и дымом.

Но когда фитиль догорел и свеча стала меркнуть, всем сразу показалось, что в зале стало темнее и холоднее; многие начали зябнуть, а Гест совсем похолодел, и руки у него застыли. Когда же свеча угасла, он был мертв.

Все заметили, что глаза умирающего в последний мир расширились, словно он узрел новые миры, более ослепительные и величественные, чем солнце; старец улыбнулся, словно увиделся со своими близкими; казалось, что он уже приобщился к вечности за те минуты, пока догорала его свеча; многим хотелось увидеть то, что видел Гест.

Всех молодых и статных воинов охватил ужас, когда смерть приблизилась к Гесту, волосы зашевелились у них на голове; это чувство им суждено было испытать вновь, когда они бросались за борт своей длинной походной ладьи и море смыкалось над их головами.

Король приказал подкинуть дров в огонь; ему тоже стало холодно; отроки расшевелили саженные поленья, пламя вспыхнуло ярче, искры брызнули дождем, и пир продолжался.